

А. В.  
Друсеинин

---

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА

---

МОСКВА  
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ  
1963

Составление, подготовка текста  
и вступительная статья **Н. Н. Скатова**

Примечания **В. А. Котельникова**

Рецензент **Б. Ф. Егоров**, профессор,  
доктор филологических наук

Художник **П. С. Соцкий**

**Дружинин А. В.**  
Д76 Литературная критика/Сост., вступ. ст.  
Н. Н. Скатова; Примеч. В. А. Котельникова.— М.:  
Сов. Россия, 1983.— 384 с., 1 портр. (Б-ка рус. кри-  
тики).

Книга впервые знакомит советского читателя с литературно-критическим наследием Александра Васильевича Дружинина (1824—1864) — известного в середине XIX века писателя и литературного деятеля. В сборник включены наиболее значительные из статей А. В. Дружинина, посвященные творчеству А. С. Пушкина, А. А. Фета, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Н. А. Некрасова, И. А. Гончарова, В. Г. Беллинского.

Д 4603010101—132 60—83  
М-105(03)83

8Р1

## А. С. ПУШКИН И ПОСЛЕДНЕЕ ИЗДАНИЕ ЕГО СОЧИНЕНИЙ

### 1



олчи и жди!» — сказано было великому писателю, жаловавшемуся — и справедливо жаловавшемуся — на превратные суждения современников о произведениях его вдохновенной музыки. «Молчи и жди!» — можно было сказать Пушкину в тот тяжкий период его деятельности, когда критика встречала его лучшие творения враждебными отзывами, между тем как читатель громко говорил об упадке таланта Пушкина. Свежо предание, но верится с трудом, что в весьма не отдаленное от нас время «Медный всадник» казался странною фантазиею, «Каменный гость» — вялым заимствованием и «Борис Годунов» — смело, но не совсем удачною попыткою драмы из русской жизни! Седьмая песнь «Евгения Онегина» подверглась разбору, какому нынче никто не подвергнет шуточной поэмы темного произведения, писанного темным человеком, задорной книги с претензией на гениальность ее автора! Переносясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпадавшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы пахнем себя в необходимости сказать, что великая часть читателей делила заблуждения критиков, врагов Пушкина. Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гостиную с книжкой «Современника» или «Библиотеки для чтения» и говоривших: «Исписывается бедный Александр Сергеевич; не даются больше стихи Пушкину!» Память наша ясно представляет нам толстого господина, сидящего в кругу дам и мужчин, за круглым столом, и читающего комическим голосом «Песни западных славян». Слушатели внимают с выражением некоторой грусти на лицах и все-таки смеются таким странным стихам, стихам, так похожим на простонародную прозу! Надо прибавить одно только:

читатель, вполне разделяя заблуждение ценителей по поводу упадка поэзии в Пушкине, награждал себя тем, что вполне восхищался его прозой. Успех «Капитанской дочки» превосходит всякое описание, и мы опять помним толстого господина, с наслаждением читающего это произведение в том самом кругу слушателей, который не находил ничего хорошего в монологах «Дон-Жуана» или в «Видении короля», посреди храма, с боя взятого турками! Дело в том, что масса нашей публики не всегда понимала Пушкина, но любила его всегда, и размолвки ее с музой Пушкина были недоразумением, но не ссорой. Так ребенок-мужчина, полюбивший высококоразвитую женщину, часто не понимает ее лучших сторон и гневается на непонятные для него проявления ее высоких душевных качеств!

«Молчи и жди!» — можно было сказать Пушкину в эпоху самых сильных колебаний поэта. Не века и не отдаленные поколения готовили ему славу и полное сочувствие — только малое число годов отделяло его от торжественного и полного примирения с читателем. Одна только ранняя кончина помешала нашему народному поэту быть истинно оцененным, истинно понятым при жизни. Доживи Пушкин до обыкновенного предела жизни человеческой — как возвышена и благотворна и величава была бы его роль между нами! Невыразимо грустно подумать о том, что мы сами, русские поэты и писатели настоящего периода, слабые ученики вдохновенного мастера, — могли бы и теперь своими глазами видеть Пушкина славным старцем, слушать его речи, окружать его нашим уважением и принести ему в дар наше безграничное, но не раболепное поклонение! Как прекрасна была бы старость поэта, сколько пользы русскому искусству приносили бы его советы, его указания, его всегдашнее сочувствие к таланту, его возвышенное понимание труда и жизни! Судьба судила иначе: но, не взирая на ее строгость, влияние поэта, которым так справедливо гордится наше отечество, не угасло и за гробом. Из другого, лучшего мира доносится к нам голос Пушкина, и пока будет звучать на свете русский язык, будущие поколения наших соотечественников станут помнить имя Пушкина. Его песни будут восхищать «людей еще не рожденных» — история его жизни станет поучать будущих тружеников искусства, из нее всякий русский человек станет почерпать правила о том, как надо жить, любить, исправлять заблуждения своей жизнью, трудиться, любить свой труд и свою родину.

Последнее издание «Сочинений Пушкина», составляю-

щее предмет нашего этюда, по справедливости должно назваться первым памятником великому писателю от потомства. На этом широком и незыблемом фундаменте будущие поколения могут строить все, что им будет угодно, во славу певца Петра Великого и карателя клеветников России. Издание появилось кстати и исполнено в совершенстве. Оно пришло в ту пору, когда многие из вдохновенных песней Пушкина могут быть применены к славным событиям, только что случившимся. Оно пришло в ту пору, когда каждый член русской семьи жаждет сотворить что-нибудь благое для своего отечества, по мере своих сил и средств, — или мечом, или словом, или созданием искусства, или скромною жертвою. И наконец, оно пришло в ту пору, когда около имени Пушкина давно уже смолкли все литературные несогласия — и воцарилось величавое спокойствие, посреди которого загробная речь поэта начинает раздаваться так ясно и так торжественно.

## 2

Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина, из которых станем мы извлекать все данные для нашего краткого труда, составлены г. Анненковым с редким талантом и с редкою проницательностью. Может быть, на Руси отыщется не один ветренный читатель, способный упрекнуть биографа в том, что он составил одну лишь *литературную биографию* Пушкина, но этому пособить никто не может, ибо книги подобного рода пишутся для целого народа, а не для немногих дилетантов, ищущих в жизнеописании известного человека один ряд анекдотов да две или три им небезызвестные фамилии. Ни в одном образованном государстве не принято выводить на сцену под предлогом биографии историй о частных интересах и о лицах, еще живущих в обществе, ни один талантливый изыскатель не имеет права устремлять любопытных взглядов в святилища домашней жизни, хотя бы интерес рассказа стократно возвысился через подобную нескромность. Соображения подобного рода, ставившие в тупик многих биографов, и стремления к занимательности, так часто увлекавшие даровитых людей за пределы литературного приличия, ни мало не повредили труду г. Анненкова, а напротив того, дали ему средства на деле выказать весь тот артистический такт, без которого не создается ни одно прочное творение. Между двумя дорогами, из которых одна вела к сухому панигири-

ку, а другая к нарушению скромности, издатель «Материалов» выбрал третью тропу, по которой до него ходили весьма немногие и весьма славные люди. Не поддаваясь колебанию, не спутывая себя хитросплетенными умствованиями, он поставил перед нами весь вопрос о Пушкине в его настоящем виде. Он разъяснил читателю, что перед духовной жизнью поэта его ежедневная жизнь отходит на второй план, что сведения о процессе творчества в Пушкине должны быть интереснее для читателя, нежели самая копотливая, самая подробная повесть о житейских делах нашего писателя. Когда пройдут годы, когда настоящее сделается былым, — найдутся люди, способные пополнить биографию певца многими фактами и анекдотами, — но беседовать с публикой о тайнах Пушкина, как гения-труженика, может только человек нашего поколения. Пока нам еще памятны литературные дела прежних годов, пока еще мы можем понять отношения Пушкина к его современникам, пока еще живы многие из поэтических сверстников Пушкина, — надо было писать его литературную биографию, трудиться именно так, как трудился г. Анненков. В понимании своей задачи таится главная сила биографа. Успех его «Материалов» должно причислить к успехам самым правильным, законным, постоянным. Литераторы, поэты, люди умственного труда первые подняли свой голос в похвалу издателя «Сочинений Пушкина». За ними последовали все люди, которым дорого русское искусство и его будущность, люди, еще в детстве своем сдружившиеся с поэзией Пушкина. И наконец, к общему хору похвал присоединились голоса читателей, имевших еще неполное понятие о таланте певца и совершенно незнакомых с жизнью Пушкина как литератора.

Едва ли не вернее будет, если мы скажем, что до выхода в свет настоящего издания «Сочинений Пушкина» — одни только друзья покойного поэта знали вполне, до какой степени велика, до какой степени исполнена была благотворного поучения литературная жизнь Александра Сергеевича. О высоком образовании поэта, о его геркулесовских трудах в тиши кабинета, о его громадной начитанности и о совершенно гетевской способности прилепляться всей душой к каждому предмету изучения — могли только догадываться читатели, удивленные стройным величием созданий Пушкина. Но и они даже не угадывали десятой части истины, и поэт казался им скорее каким-то фантастическим трувером, угадчиком, но никак не великим тружеником. Мы

помним тысячи рассказов о Пушкине и рассказов именно в таком духе — мы видали особ, лично беседовавших с поэтом, пользовавшихся его расположением и, несмотря на то, искренно утверждавших, что ему вдохновение давалось легко, что он даже не любил трудиться. В воображении своих читателей Пушкин доселе рисовался в виде доброго, насмешливого, временами вспылчивого джентльмена, порхавшего в свете, светски остроумного в разговоре, немного свысока глядевшего на словесность, читавшего мало, неохотно и только в праздные минуты, — одним словом, в виде блистательного пришлеца в мир поэзии, срывавшего одни розы на том поле, где бедные поденщики искусства трудятся до кровавого пота. О фундаментально широком образовании Александра Сергеевича не говорил никто, как будто бы общество было наполнено людьми подобного же образования, — правда, замечательной памяти Пушкина все удивлялись, относя к ее простым чудесам многосторонность его сведений. Горячность поэта во всех литературных спорах приписывали его самолюбию, дурным нравственным сторонам его противников, но редкие догадывались, что она проистекала из страстной любви к искусству, из всегдашней готовности жертвовать всем на свете для пользы родной словесности. Многие из анекдотов, в которых действует Пушкин, — анекдотов, по большей части придуманных досужими рассказчиками, представляют характер поэта в постоянно одном и том же — беззаботно-насмешливо-разочарованном виде. Всюду рисуют они нам светского человека, рассказчика, остряка, эксцентрика, но никак не истинного литератора. Кто не помнит этих анекдотов. Там Пушкину заказывают стихи на заданную тему, и он пишет одно из своих лучших стихотворений («В надежде славы и добра») в четверть часа времени, — там он прибавляет стишок к эпиграмме своего дяди и обращает ее острие на самого автора. Один раз Пушкина упрекнули в том, что «Бахчисарайский фонтан» навеян поэмами Байрона, и он ответил такими словами: «Надо выучиться по-английски: я никогда не читал ни одной строки из Байрона!» Прибавьте к анекдотам подобного сорта множество игривых стихотворений, тупых сатир, приписанных Пушкину, — и вам будет понятно, в каком ложном виде до сих пор представлялся воображению нашему тот писатель, которого начитанность и трудолюбие могли идти наряду с трудолюбием и начитанностью первых поэтов, когда-либо существовавших на свете!

С появлением последнего издания «Сочинений Пушкина» подобное заблуждение, столь обидное для его памяти, становится невозможным. Завеса, скрывавшая от нас погребальный бюст нашего поэта, падает навеки. Перед нами уже не вялое создание праздной фантазии света, а строгий мрамор, изображающий собою истинные черты того, кем мы гордимся! С благоговением подходим мы к хладному, вечному мрамору и навсегда прощаемся с тем небывалым Пушкиным, какой когда-то витал в нашей фантазии. Вот они — истинные черты художника, вот его взгляд и поза, — вот его нелицемерное изображение! Мы видим, что перед нами поэт истинный, — и, преклоняя свои головы, вновь и вновь рыдаем над его прахом!

Принимаясь за наш труд, мы не имели в виду подробной беседы о самом издании «Сочинений Пушкина», уже слишком хорошо оцененном и публикою и всеми рецензентами, почти без исключения. Равным образом мы не желаем разбирать поэтической деятельности Пушкина, ни в историческом, ни в критическом отношении: этот труд завел бы нас слишком далеко. Пока не вышли остальные томы, издаваемые г. Анненковым, рано говорить обо всем этом. Речь наша будет касаться только первой книги, именно той, которая заключает в себе биографию Пушкина, — но из нее даже мы выбираем себе одну сторону, выше меры для нас интересную. Мы желаем, по мере сил наших, выказать наше мнение о Пушкине как о литераторе в тесном смысле этого слова — и, опираясь на превосходные изыскания самого издателя, сообщить читателю о том, каков был великий наш поэт в тиши своего кабинета, в сношениях с своими сверстниками и поклонниками, перед лицом критики и, наконец, в отношениях своих с читателем.

### 3

Александр Сергеевич Пушкин получил от природы все качества, без которых редко рождаются поэты истинные; к этому следует прибавить, что его способности находились между собой в гармоническом сочетании. В жилах юноши текла африканская кровь, и натура поэта могла назваться страшною, но в ней не было ничего порывисто-необузданного, или дикого, или дерзко-заносчивого. Обширная память, соединенная с любознательностью, ставили мальчика Пушкина выше его сверстников, но влияние нашей северной и поэтической лени мешало ему сделаться гениальным мальчиком,



то есть существом болезненным. В первой молодости Александра Сергеевича не имелось ничего несоразмерного, многообещающего, идиосинкразического<sup>1</sup>, натура его весьма мало сходствовала с натурами двух поэтов-любимцев Пушкина — мы говорим про Шиллера и лорда Байрона. Пушкин в классной комнате своего дома и Пушкин в Царском Селе был живым, бойким и остроумным мальчиком, но не чудом в ряду других юношей. Он не мечтал о сочинении «Разбойников», не влюблялся отчаянно, имея двенадцать лет от роду, не придумал проказ, вследствие которых юность большей части гениев бывает так плачевна. Если первые годы его жизни в обществе и не могут назваться вполне свободными от заблуждений, то все-таки читатель не должен забывать, что заблуждения эти происходили от юности, неопытности и вскоре загладились рядом благородных поступков. Так смотрел на юношеские заблуждения нашего поэта Высокий Покровитель его гения — и после такого суда ни один человек в России не осмелится сказать жесткого слова о слабостях юности Пушкина!

Воспитание, полученное Александром Сергеевичем в доме родительском, при всей его французской односторонности, имело свои хорошие стороны. Мы слишком свысока смотрим на системы старого воспитания, забывая о том, что многие великие люди прошлого да и нашего столетия воспитывались на французском языке, французской словесности и французских понятиях. Конечно, если б всех младенцев, которым суждено быть поэтами, воспитывали на Телемаке<sup>2</sup> да на трагедиях Расина, — результат мог выйти не совсем успешным, но никакое воспитание в мире не стремится к заготовлению мыслителей или поэтов. И наконец, разбирая влияние домашнего воспитания на талант Пушкина, мы все-таки признаем его полезность. Оно помогло Александру Сергеевичу быть человеком света, сообщила его уму ту остроумную гибкость, без которой поэту невозможно творить на языке, еще не вполне установившемся, каков был русский язык в эпоху деятельности Пушкина. Карамзин и Пушкин, столь много сделавшие для родного слова, были оба писателями светски-образованными, знающими много языков и особенно сильными во французской словесности. Законы французского языка, столь определенного, сжатого, обработанного и в совершенстве развивающего умственную гибкость пишущего, были им знакомы до тонкости, и такое знакомство не могло пропасть даром для людей, имевших в виду упрощение русской речи и сбли-

жение языка разговорного с языком письменным. Оставляя этот предмет и переходя к влиянию французской словесности на фантазию Пушкина, мы опять видим результаты выгодные. В умных, талантливых детях северного края есть один недостаток, часто причиняющий великий вред их развитию: этот недостаток — мечтательность, от которой, сколько можно судить по биографии и рассказам лиц, помнящих юность Пушкина, наш поэт был совершенно свободен. И не мудрено: когда жажда сведений, стремление к наслаждениям мысли побудили мальчика к тайному похищению книг из отцовской библиотеки, под руку его стали попадаться творения, может быть, скучные, может быть, не совсем годные для дитяти, — но никак не запутанные, никак не сентиментальные. Трагедии, поэмы правильного устройства, исторические сочинения, будто вымеренные по циркулю, остроумные письма, любезные стишонки — вот чем питался молодой любитель чтения — и такая пища, хотя по временам могла засорить желудок, но не была способна вполне испортить пищеварение. Из беседы своей с классиками Франции Александр Сергеевич вынес, кроме поклонения особе Буало, несколько начал, впоследствии им расширенных и примененных к делу — как то: сдержанность, осторожность поэзии, уважение к своим предшественникам, определенность в своем критическом взгляде на искусство.

Питать мечтательность в юношах, по нашему мнению, не следует; ее надо прятать, смягчать, ослаблять до того времени, пока лицо, к ней склонное, достигнет настоящего юношеского возраста, и до тех пор достаточно окрепнет в мышлении. Тогда-то недостаток дитяти станет достоинством отрока, поэзией молодого человека. Тогда-то фантазия, опираясь на достаточно знакомую действительность, витая не в тумане, но посреди предметов жизни, изукрасит эти предметы своим золотым светом. Тогда наступит для даровитого существа блистательно-смутный период жизни, когда все впечатления бытия новы и прелестны, когда кровь играет около сердца, когда поэзия является уже не туманным (и часто удушливым) облаком, а настоящей женскою фигурою музы, так часто описываемой Пушкиным. Для Александра Сергеевича периодом такой поэтической мечтательности были года его пребывания в Царском Селе в семье отроков, облагодетельствованных великим государем, помещенных близ его дворца, в виду тенистых садов, еще полных славою Великой Екатерины. И взгляните, как сознает Пушкин значение Царского Села в отношении к раз-

виту своего дарования, как всю жизнь свою он рвется к тому месту, где он «забывался поэтом», как знает он в нем каждую стацию, каждую аллею, во скольких видах является у него Царское Село, о котором он мечтает и в Одессе, и на Кавказе, и посреди табора цыган, и в перестрелке с турками, и в своем сельском домике, один справляя, 19 октября, день основания Лицея! В «Евгении Онегине» он воспевае музу, являющуюся ему в садах Великой Жены; проживая в Петербурге, он ходит пешком в Царское Село и, добравшись до тенистых аллей, до дворцов, до белых статуй между зеленью, забывает все горе своей жизни! В подражании Данту — ребенок, убегающий от наставницы в «великолепный мрак чужого сада», — сам Пушкин — поэт, бегущий «в широкошумные дубравы», когда божественный глагол вдохновения касается его чуткого слуха<sup>3</sup>, опять-таки Пушкин, рвущийся к поэтическому месту своего воспитания! Нам не известно, что сотворил бы Александр Сергеич, если б Господь дал ему более жизни, мы не можем решить, на какой стезе прославился бы он новыми созданиями, образовался ли бы из него русский Скотт или русский Шекспир, но мы можем сказать одно с полным убеждением, Пушкин написал бы поэму, в которой местом действий было бы Царское Село, — и посреди садов, так святых для поэта, при блеске бесчисленных огней, в толпе великих деятелей великого времени, предстала бы нам тень Жены, перед которой склонялась вселенная! Кто может сомневаться в том, что в душе Александра Сергеича зрел замысел подобного рода: замысел свято хранимый, может быть, не поверяемый никому до того благословенного часа, когда всему существу поэта предстояло задрожать над священным налетом вдохновения.

#### 4

Лицейские годы Пушкина мы смело причисляем к периоду первого пробуждения его поэтических способностей. И могло ли быть иначе. Александр Сергеич был окружен поэзией и поэтами в самом благородном и многостороннем значении этого слова. Он жил в Царском Селе и гулял по тем самым аллеям, где, казалось, еще ходили тени людей великих. Россия переживала период славной борьбы, и гром побед русского оружия доносился до слуха пламенных, юных затворников. Александр Благословенный называл Пушкина и товарищей Пушкина детьми своими, он дал

им наставников, готовых положить свою душу за Лицей, наставников, для которых, как и для Пушкина, целый мир был чужбиной, а Царское Село духовной родиной. Кому из нас, еще в недавние годы, не случалось изредка встречать этих лицейских наставников былого времени, старцев с детски-ясными душами, ученых, как будто принадлежащих к какому-то особенному заветному миру, где все так благоговорно, возвышенно, тихо и отрешено от жизни с ее суетою. Счастлив человек, близко знавший кого-нибудь из этих старцев и со вниманием слушавший его трогательные рассказы о первых годах Лицея, о Пушкине, о его товарищах, о же поэтах! «Не тот поэт,— говорил Карлейль,— что пишет огромную поэму, хотя бы и хорошую, но тот поэт, кто сделал жизнь свою главою из героической поэмы!»<sup>4</sup> А в этом отношении лицейские сверстники Пушкина почти все были поэтами и провели жизнь свою недаром и прославили Лицей повсюду: в заботах жизни и царской службы и переплывая льды полуночных морей, и посреди холодного блеска фортуны, и на священных жертвах бога песнопений. Трогательное чувство братства издавна связало сердца сверстников Пушкина, и доныне день девятнадцатого октября, день основания Лицея, справляется ими как семейный праздник.

С достоверностью можно сказать, что ни одному из литераторов, когда-либо существовавших на свете, публичное воспитание не дало так много всего хорошего, сколько дало оно Александру Сергеевичу. Он не успевал во многих науках именно потому, что всею душой был погружен в главную науку своей жизни, давшую ему славу, а России — поэта первоклассного. Несмотря на свою наружную беспечность и даже шаловливые наклонности, Пушкин исчерпывал все то, что давал ему лицей, Царское Село, наставники и товарищи. Какой отец, самый богатый и заботливый, мог дать своему сыну все это, начиная с невозмутимо спокойных праздничных дней посреди садов и лицейской библиотеки до спасительной дисциплины строгого воспитания, смягченного как лаской наставников, так и юношеской резвостью сверстников. Какой изобретательный педагог имел бы возможность окружить своего Эмиля<sup>5</sup> подобными товарищами. И где, наконец, кроме лицея, мог испытать будущий поэт ощущение вроде испытанного им в те минуты, когда Державин, седой бард Екатерины, явившись на лицейский экзамен, с умилением прослушал «Воспоминания в Царском Селе» — первый плод юного вдохновения. Подобные ощу-

щения делают человека поэтом. Державин мог расхвалить Пушкина в его родительском доме, оценить его первый опыт, сидя в своем кабинете, но во сколько раз сильнее подействовало его благословение, данное посреди величавой залы лица, при многочисленных зрителях, в день торжества, многолюдства, похвал, трепетного ожидания. Записки Пушкина, рассказ его об этом трогательном дне своей жизни вполне выражают чувства истинного художника, впервые вкусившего славы. С той минуты, когда старик Державин заметил нашего юношу, поэтическая звезда Пушкина загорелась на русском горизонте!

Лицейские товарищи Пушкина и сам Пушкин, как это без сомнения известно каждому читателю, еще на школьных скамьях пробовали свои силы по части литературной: большая часть из них, несмотря на юный возраст, обладала начитанностью, которой, может быть, позавидовал бы не один из современных нам литераторов. Между учениками, трудившимися над изданием какого-нибудь «Лицейского Мудреца», находились юноши, коротко знакомые с немецкою литературой, читавшие Феокрита, Виргилия и даже рассуждавшие о том, что изучение одной французской словесности недостаточно для человека, осмеливающего готовить себя в служители Муз и Аполлона. Песнь Жуковского, страница карамзинской прозы ценились по заслугам в кругу молодых людей, помышлявших о том, как бы в день публичного экзамена подойти к старцу Державину и поцеловать руку, начертавшую «Фелицу»<sup>6</sup>. Вот в какой школе совершалось образование Пушкина как литератора! Вот судьи, произносившие свой отзыв над излияниями его резвой музыки и в первый раз давшие ему заметить, что «прекрасное должно быть величаво!»<sup>7</sup> Между сверстниками поэта самым благотворным советником был барон Дельвиг, и о нем-то мы позволим себе сказать здесь несколько слов в виде отступления.

До сих пор еще многие из наших литературных ценителей не произнесли своего окончательного приговора по поводу дарований Дельвига и в особенности его влияния на талант Пушкина. Большой части из них благоговейные чувства Александра Сергеевича к памяти усопшего друга, вместе с отзывами певца «Полтавы» о литературном значении Дельвига, кажутся не более, как дружеским заблуждением. Перечитывая довольно слабые труды стихотворца, которому первый из русских поэтов платил дань по-видимому ничем неоправданного поклонения, они смело называют

Пушкина пристрастным судьей, судьей, подкупленным дружескими чувствами. По их мнению, теплая душа нашего поэта прямо привела его к незаконному возвеличению того человека, который с детских лет был к ней близок: отзывы эти кажутся нам не совсем справедливыми. Дельвиг точно не был поэтом первоклассным, — скажем более, он даже и не обещал быть замечательным поэтом. В этом человеке, как во многих юношах нашего времени, творческие способности были гораздо слабее способности к анализу, способности чисто критической и почти всегда вредной для поэзии. Не из лени, не из гордости Дельвиг писал мало; писал он мало потому, что был жестоким судьей как своих, так и чужих произведений. Он был силен для замысла, слаб для исполнения, бледен как художник, но велик как ценитель. Из людей подобного разряда образуются иногда отличные критики, а еще чаще Зоилы, желчные, сумрачные и тем более опасные, что они обладают тактом несомненным. В Дельвиге были все элементы истинного критика, председателя литературных споров, решителя поэтических дум, между тем как мягкость его характера, теплота души ругались в том, что из него никогда не выйдет Зоила. Дельвиг читал много, любил древний мир, был поэтом настолько, насколько это нужно лучшему критику, а что выше всего — глубоко уважал звание литератора. Воспитывая гений свой в тиши (и даже в дремоте), он был беззаботен как человек, но горд как писатель. Дельвиг, по признаниям Пушкина и рассказам лиц, его знавших, в своем взгляде на звание писателя был на несколько десятков лет впереди своего времени. Мнения его о том, что такое поэт и как должен держать себя поэт, высказаны в лучших песнопениях Пушкина. Снисходительный на словах, но взыскательный по их тону и значению, Дельвиг осуждал слишком легкое направление во многих вещах своего друга, советовал ему *учиться и учиться*, делился с ним своими познаниями, разжигал его фантазию, набрасывая очерки воображаемых созданий, очерки, на составление которых он всегда был такой мастер. В эпоху зрелого возраста, в период полного развития своих творческих сил Александр Сергеевич любил вспоминать о *планах*, роившихся в голове Дельвига, о его беседах, о его взгляде на литературное дело. Дельвиг не говорил Пушкину: «изучай такого-то писателя», «ознакомься с поэзией того или другого народа», его советы были живою импровизациею, плодом собственного опыта, поэтическим переводом того,

что волновало душу молодого человека. Для Пушкина, начитавшегося французских классиков и на первых порах склонного к подражательности, подобного рода импровизации были путем в новый мир, ключом в заповедную область поэзии. Счастливы литературные круги, имеющие своих Дельвигов,— блажен поэт, имеющий в лучшем своем друге испытанного путеводителя!

Литературная деятельность Пушкина началась подражаниями, и подражаниями весьма бледными, с этим согласится всякий, кто со вниманием перечитывал его лицейские стихотворения. Во время ученических годов Александра Сергеевича стихи писал всякий, стало быть, нам нельзя сетовать на то, что будущий автор «Онегина», не имея двадцати лет от роду, писал вещи совершенно ничтожные<sup>8</sup>, что бы о них ни говорили последующие критики. Для молодых товарищей, для ленивых дилетантов старого времени, может быть, имели цену эти фальшиво-игривые описания деревенского уединения, веселых пиршеств и так далее; но для нас они не имеют никакого значения. Будто назло будущим своим биографам, даровитый юноша воспевал именно то, к чему не имел никаких склонностей, прославлял предметы, перед которыми его сердце молчало, подражал писателям, с которыми не имел и не мог иметь ничего общего. Ранний, незаслуженный успех этих юношеских попыток мог бы повредить Пушкину, если б он в это опасное для своей славы время не питал ума чтением или беседами с людьми, подобными Дельвигу. В позднейших произведениях его юного возраста мы видим уже знакомство с древней поэзией, с итальянскими и германскими образцами; скачущие строфы, небогатые числом слогов, попадаютя реже; Хариты и вечный Вакх с Комом реже являются на сцену, там и сям посреди вялых страниц начинает мелькать живой пейзаж, меткое выражение, сжатый стих, не лишенный гармонии. И вот, наконец, в эти сонные пресные воды стремительно врывается новый поток, зародившийся в сердце, прямо текущий из сердца. Он бежит искристой длинной полосой, как течение реки посреди дремлющего залива, ясно обозначая свой след, устремляясь все далее и далее. Пушкин влюблен первую любовью, любовью, может быть, минутною, может быть, головною, может быть, мечтательною... нам какое дело. Он пишет свои первые элегии, свое «Желание», свое стихотворение «К Морфею» (*Морфей, до утра дай отраду*), свое послание «К друзьям» (*К чему, веселые друзья*), оканчивающееся так пленительно; наконец, тог

популярный романс «Слыхали ль вы», в котором слабость содержания выкупается гармонией стиха, как, например, приторность модной песенки выкупается ее обворожительной музыкой. С тысяча восемьсот шестнадцатого года Александр Сергеевич уже «не юный поэт, много обещающий в будущем», уже не ребенок, способный украшать ученическими опытами листки альманахов,— а даровитый литератор, подготовленный к своей деятельности учением, чувством такта и некоторою опытностью в сердечных ощущениях.

## 5

Здесь не место разбирать жизнь Пушкина по годам, переносить из С. Петербурга в Одессу, из Одессы в Кишинев или на Кавказ, или в село Михайловское. Как ни интересна каждая заметка о домашней жизни человека, столь много сделавшего для русской словесности, мы не увлечемся анекдотической стороной биографии, имея в виду другую цель, ясно определенную. Несмотря на развлечения света, невзирая на перемену мест, деятельность Пушкина по части усовершенствования своего таланта не уменьшилась, а увеличилась после прощания с лицеем. Огдавая часть своего времени заботам и веселостям житейским, он с тем большею радостью уединялся в тишину своего кабинета, и читал, и мыслил, и учился, и думал об искусстве, честно приготавливая себя к тем моментам, когда подступал к нему священный холод вдохновения, к тем моментам, когда надлежало творить не рассуждая. Когда корифеи старой нашей критики упрекали Пушкина в лености, трунили над ним за то, что он воспеваешь шаловливую беспечность, когда они прозвали его баловнем-поэтом — их баловень, их ленивец трудился так, как едва ли трудился в то время хоть один из современных ему русских писателей. Из этого не следует, чтоб наши писатели того времени вели жизнь не трудолюбивую — Жуковский, Батюшков, Карамзин, Катенин, Гнедич принадлежали к образованнейшим людям всей России,— но Александр Сергеевич превосходил их именно потому, что был моложе, да сверх того богаче поэтической способностью. Во всякий труд вносил он эту способность, прилепляясь душой к своему труду, становясь фанатиком той или другой книги, исчерпывая до дна предмет своих наблюдений, озаряя его светом поэзии и в этом отношении напоминая собою великого Гете. То Байрон, то Ариост, то Шлегель<sup>9</sup>, то русская сказочная старина, то древний мир увлекали собой молодого поэта; для него не существовало книг



скучных, рассказов незанимательных. Вот чем и должна объясняться постоянная снисходительность Пушкина к делам своих сверстников по литературе, как старших, так и младших. Всюду являлся он с своим собственным даром, при чтении «давая автору частицу самого себя» — по прекрасному выражению Карлейля. Поэмы Баратынского, воспринятые Пушкиным и расцвеченные его собственной фантазией, кажутся ему классическими вещами; читая переводы Катенина, он вызывает перед себя величавую тень Корнеля<sup>10</sup>; планы будущих творений Дельвига его поражают; излишняя туманность новых романтических поэтов представляется Александру Сергеичу залогом чего-то невыразимо прекрасного. Ж. П. Рихтер рассказывает, что он в юности любил слушать чтение неудобопринимаемых книг и во время чтения строил собственные вариации на тему автора — прихоть, понятная в таких поэтах, каковы Рихтер и Пушкин! Более и более привязываясь к чтению, наш молодой поэт переходит к прекрасной системе заметок и выписок; в совершенстве изучив всю русскую словесность, Пушкин привязывается к ней навеки, признает свое значение, и выше всех благ света чтит свою молодую славу, свое звание русского литератора.

Здесь нам следует опять сказать несколько слов в опровержение светского предрассудка о том, что Пушкин был литератором-дилетантом, то есть писал без особенной страсти к родному искусству, на литературные круги взирал с улыбкою светского человека и свои общественные успехи ставил выше своих успехов как поэта. К такому обвинению (для многих оно кажется не обвинением, а похвалою) повод подали отчасти мода старого времени, но еще более возвышенная деликатность души Александра Сергеича. Около двадцатых годов нашего столетия в свете властвовала особенная, если позволено будет так выразиться, *разочарованная фривольность*, тип которой мы находим в Байроне, властителе дум Пушкина. Байрон наследовал пренебрежение к литературе от лондонских вельмож прошлого столетия и мало того что наследовал, но возвел эту вредную слабость в какой-то идеал, или, по крайней мере, в оригинальную прихоть. Европу, преклоняющуюся перед творцом «Гарольда»<sup>11</sup>, очень тешило то, что этот поэт сам смеется над романтическим направлением своих сочинений, хвалит французских классиков, шутками отвечает на восторженные дифирамбы читателя, связывается с пустоголовыми львами Лондона и гордится не созданиями своей фан-

тазии, а искусством в верховой езде или стрельбе в цель из пистолета! О влиянии Байрона на всех его современников не может иметь понятия человек, не бывший личным свидетелем всех странностей, прихотей, модных подражаний, порожденных иногда его гением, иногда его прихотью. Пушкин, вступая в свет, застал в полном ходу байронизм, сумрачные страсти, насмешливую мизантропию, увядшую жизнь, не известно почему сочетавшуюся с наружным щегольством, черные плащи, небрежно повязанные галстуки, обилие Дон-Жуанов и презрение к честному литературному труду. Хотя собственные его убеждения нисколько не согласовались с этой последней модою, хотя он видел старших русских писателей (Карамзин, Жуковский и др. уже были слишком самостоятельны для того, чтобы увлечься байронизмом), братски протягивающих руки каждому труженику на общем поле, но Александр Сергеич по летам своим не мог идти против моды. Облачаясь в байронов плащ, он поступил так же, как поступает юноша, не смеющий сшить себе широких панталон, в то время как вся молодежь ходит в узких. Вот разгадка небрежных замечаний о своих творениях, невежливой эпиграмм на своих недругов, непрерывных обещаний не писать более бесцеремонных отступлений в начале «Онегина», толков о себе и опять о себе, одним словом, тех литературных шалостей, которые одно время много вредили Пушкину в глазах лиц, серьезно взвешивающих на искусство.

Между тем прошли года, байроновский дендизм всем надоел до крайности, сам Александр Сергеич, заплатив своему кумиру должную дань в «Бахчисарайском фонтане», «Кавказском пленнике» и первой главе «Онегина», перестал увлекаться слабыми сторонами Байрона. Но некоторая наружная холодность воззрения на литературных людей, на литературные вопросы осталась при Пушкине. Он продолжал быть уклончивым и как-то особенно вежливым в своих суждениях, к горячим спорам, из которых так часто рождается истина, он, по-видимому, питал отвращение. Иногда позволял он себе говорить по-прежнему — *я пишу затем, что мне деньги нужны*; находили на него минуты, когда он, для красного словца в кругу светских знакомых, отзывался о поэзии с небрежностью. Но уже все лица, коротко знавшие Александра Сергеича, не вдавались в обман, не роптали на его беспечный дилетантизм, ибо они хорошо знали, какая бездна любви, поэтической гордости, страсти к искусству,

уважения к труду кроется под этим лоском, обманчивым только для близорукого света!

У всякого истинно русского человека, а Пушкин был чисто русским человеком, находится в душе одна чисто народная и возвышенная черта, заключающаяся в той святой деликатности духа, которая делает все наши сильные ощущения столь немногоречивыми, сдержанными и как будто робкими. За эту черту нашего характера, вследствие которой русский человек молча свершает свои подвиги, молча любит и даже ненавидит своих врагов молчаливой ненавистью, ипоземцы, не понимающие толка в людях, зовут нас холодным народом. Сказанной чертой характера Пушкин обладал в высшей степени: оттого он так велик и славен, оттого поэзия его, богатая тихим интимным колоритом, будет веселить русское сердце и в отдаленные от нас годы. Во всех своих привязанностях, как и в антипатиях, Александр Сергеевич был истинно деликатен, пренебрегая обычаем поэтов открыто изливать свои ощущения перед своей публикой. Все произведения его подтверждают справедливость наших слов, а история кабинетных работ Пушкина отстраняет даже тень сомнения по этому поводу. Как выбрасывает он из своих вещей все то, что имеет в себе интерес частный, что может выдать свету любимое имя, что может дать слушателю путеводную нить к лабиринту привязанностей его сердца! Не стесняясь потребностью славы, Пушкин безжалостно уничтожает превосходнейшие строфы, имеющие отношения к его святейшим личным воспоминаниям, и мало того, он временами маскирует свое чувство, отводит глаза читателя, скрывает слезу под улыбкою, радостное воспоминание под слезою. Он иногда стоит будто нараспашку перед читателем, сообщает ему о том, как ел устрицы, ходил за кулисы и купался в море, как будто собирается ввести его в мир своих привязанностей, и, настроивши вас на тот лад, какой для него нужен, быстро ускользает от жадных взоров, не выдав себя ни словом, ни мыслью. Много ли мы знаем о женщинах, нравившихся Александру Сергеевичу в юности? Есть ли хотя тень нескромности в его задушевных песнях вроде «Заклинания» или «Для берегов отчизны дальней» или «Под небом голубым страны своей родной»? Ни разлука, ни пароксизмы горести, ни отдаление, ни самая смерть неспособны вовлечь Пушкина в малейшую нескромность, так извинительную для поэта! В посланиях к друзьям своим он шутив, весел, беспечен; но кто не видит, сколько нежности, способности на дружбу в этих по-

сланиях. И когда, воспевая любимых сверстников своей юности, Пушкин изредка дает волю своему горячему сердцу (например, в известном произведении: «Теряет лес багряный свой убор») <sup>12</sup>, дух наш потрясается поэтическим смущением,— и читатель, догадываясь об океане любви, таившемся в душе поэта, невольно говорит: «Как же умел любить Пушкин, если он таков в своих дружеских привязанностях?»

Деликатностью души Александра Сергеевича мы объясняем себе его осторожную уклончивость в литературных мнениях, его наружную холодность к делу искусства. В свете он имел многих недоброжелателей, людей неразвитых или ветреных, которым его слава колола глаза,— в литературе Пушкин «был богат врагами», по выражению своего любимого поэта. Серьезно воевать с теми и другими и грозно уединяться на высоты олимпийские Александр Сергеевич не был в состоянии, да и не желал. С его тактом, благодаря зоркому взгляду на вещи, он очень хорошо видел, что поэт, гордящийся званием поэта, только может уронить свое достоинство через борьбу с людьми, не доросшими до его понимания. Сознывая всю *новость* своего положения в обществе, Пушкин боялся разлада с светом,— истинно, сердцем любя русское искусство, он желал делать ему добро всеми средствами. Но, к сожалению, чем более наш поэт прилеплялся к русской литературе, чем благодарнее держал он себя с товарищами-писателями, тем яснее сознавал он, насколько русский литературный мир его времени был ниже его идеала. За исключением весьма немногих первоклассных писателей, уже нами упомянутых, вся литературная братия только могла обманывать надежды Пушкина. Он требовал критики— у нас не было тогда критики; он желал, чтоб произведения его разбирались добросовестно, но вместо эстетических замечаний видел в разборах одни придирки к словам, иногда даже обидные личности. То, чему он не «придавал цены, восхвалялось журналами, труды, на составление которых Пушкин клал свою душу, проходили незаметно. «Черная шаль» возбуждала восторги, «Борис Годунов» признан был промахом. Романс «Под вечер осени ненастной» обошел Россию, тогда как позднейшие стихотворения, бриллианты в поэтическом венце Пушкина, утонули в альманахах никем не замеченные. Журналисты вместо того, чтоб идти впереди публики, в одно время наставлять и ее и самого поэта, рассуждали о том, прилично ли г. Алеко, лицу хорошего происхождения, водить на цепи

медведя. Один критик обиделся тем, что в Евгении Онегине» сказано о провинциальных барышнях перед балом «Девчонки прыгают заранее», между тем как крестьянка в другом месте поэмы названа *девою*<sup>13</sup>. Но не одни подобные ребячества со стороны ценителей оскорбляли Александра Сергеевича — его во сто раз более удивляло то, чего наша тогдашняя критика не сказывала. Он не мог представить себе того, по какой причине те места из его поэм, те стихотворения, которые вносили столько нового в словесность, не возбуждали ни заметок, ни внимания. Картины природы, художественные очерки, лирические порывы, улыбки сквозь слезы, одним словом, вся поэзия, живым ключом бьющая в его творениях, не находила себе привета в критике. Публика в этом отношении была выше своих руководителей, она награждала поэта как могла; сверх того, нам известно, что Пушкин иногда получал письма от незнакомых лиц, по временам даже побуждавшие его на дружеский ответ. Могло ли при таких обстоятельствах существовать полное сочувствие между Александром Сергеевичем и большинством литераторов его времени. И не прав ли был поэт, скрывая свою пламенную любовь к искусству под личиной вежливой холодности. И не был ли он еще правее, решившись сам сделаться единственным судьей своих произведений, высказывая в своем стихотворении «Поэт, не дорожи любовью народной» свой взгляд на труд поэтический.

## 6

Около 1825 года, в ту пору, когда Александр Сергеевич обдумывал своего «Годунова» и набрасывал лучшие песни «Онегина», взгляд поэта на искусство не только получил всю должную самостоятельность, но значительно опередил все понятия, в то время ходившие между нашими писателями. Из писем Пушкина, относящихся к этому времени, из его заметок, из его объяснений по поводу своих вещей, мы видим уже, до какой степени правдив был взгляд поэта на теорию словесности. Пушкин, бесспорно принадлежа к разряду людей высокообразованных, не мог назваться ученым человеком, но его прямой русский ум служил для него ариадниной нитью в тех туманных областях критики, где, по временам, заблуждались люди строгой учености. Иногда он подступает к литературному вопросу без приготовлений, овладевает им прямо и решает его так, что приговор и донныне остается истиной; по временам Пушкин колеблется,

охватывает обе стороны задачи, склоняется то на ту, то на другую и уже потом устанавливает свое непреложное суждение. Приговор его о комедии Грибоедова, высказанный сгоряча, небрежно, донныне остается нерушимым<sup>14</sup>: все последующие ценители только перифразируют заметку Александра Сергеевича. В суждениях Пушкина о законах драмы<sup>15</sup> мы встречаем, напротив того, колебания, о которых говорилось выше. Сперва он совершенно разделяет понятия наших Аристархов о псевдоклассицизме, радостно встречает переводы Катенина, преклоняясь, подобно Байрону, перед александрийским стихом и тремя единствами<sup>16</sup>. Через какой-нибудь год времени он смотрит на все дело очами так называемой романтической школы, повторая с Мерсье<sup>17</sup>, что из всех фарсов, когда-либо придуманных человеком, нет фарса уморительнее, как французская правильная трагедия. Оба мнения нам кажутся уважительными невзирая на свою противоположность, уважительными именно потому, что Пушкин говорил их не с чужих слов, не для желанья сказать что-нибудь, а вследствие своей горячности в понимании обеих сторон вопроса. И вот, наконец, наступает пора, когда окончательное решение становится необходимым, когда замысел драмы «Борис Годунов» нуждается в форме. И тут-то, подобно полководцу в решительные минуты, Александр Сергеевич возвышается а la hauteur des circonstances\*, говоря смешанным языком его собственных заметок. Что можно в настоящие минуты, по прошествии с лишком тридцати лет, прибавить нового к подобным строкам поэта о законах трагедии:

«Род этот не исследован. Законы его стараются вывести из правдоподобия, а по существу своему драма исключает правдоподобие. Не говоря уже о единстве места и времени, да какое же, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, одна половина которой наполнена 2.000 человек, а другая людьми, старающимися показать, что не замечают первых? 2) Язык, например: Филоктет у Лагарпа чистым французским языком отвечает Пирру, выслушав его тираду: *«Увы! я слышу сладкие звуки эллинской речи!»* Все это только условное неправдоподобие. Истинные гении трагедии понимали иначе: они старались достигнуть только правдоподобия характеров и положений. А как смешны маленькие поправки в принятых уже законах! Альфиери глубоко чувствует смешную сторону а parte\*\*, уни-

\* здесь: над обстоятельствами (фр.).

\*\* здесь: сценическая реплика «в сторону» (фр.).

тожает эту уловку, но вместе с тем растягивает монолог донельзя. Какое ребячество! Правдоподобие положений, истина разговора — вот настоящие законы трагедии. Я не читал ни Кальдерона, ни Вегу — но что за человек Шекспир? Я не могу прийти в себя от изумления! Как ничтожен перед ним Байрон-трагик — Байрон, во всю свою жизнь понявший один только характер, именно свой собственный... Существует и еще заблуждение. Придумав раз какой-нибудь характер, писатель старается высказать его и в самых обыкновенных вещах, наподобие моряков и педантов в старых романах Фильдинга. Злодей говорит *«дайте мне пить»* как злодей, а это смешно. *Это однообразие, этот придуманный лаконизм и беспрерывная ярость — все это далеко от природы; отсюда неловкость разговора и бедность его.* Но разверните Шекспира. Никогда не выдает он своего действующего лица преждевременно. Оно говорит у него со всею беззаботливостью жизни, потому что в данную минуту, в настоящее время поэт уже знает, как говорить сообразно характеру, им выражаемому!»<sup>18</sup>

Вот какого рода понятия имел поэт, которому современные критики давали советы насчет замены белых стихов рифмованными строками, — литератор, которого угрюмые Аристархи признавали баловнем, умеющим петь песни в честь Бордо<sup>19</sup>, нимф, увенчанных розами, да иногда увядшей младости!

Можно иметь совершенно правильные понятия об искусстве и им не следовать; можно обладать великим чутьем критики и, подобно Дельвигу, парализовать им свои творческие способности. Но критическая зоркость Александра Сергеевича только возвышала его талант, подобно тому, как резкий воздух горных стран Европы, губительный для слабых организаций, еще более укрепляет человека сильного. Следя за процессом пушкинского труда в то время, когда издавались «Борис Годунов», «Полтава» и другие сильные произведения той же эпохи, мы с изумлением останавливаемся перед чуткою и по временам беспримерною строгостью поэта к самому себе. За ту часть биографии, в которой г. Анненков развизает перед нами сказанный процесс, мы не находим слов благодарить издателя: так новы, так исполнены высоким интересом сведения, им доставленные. Пушкин набрасывал восхитительнейшие сцены «Евгения Онегина», эпизоды из «Годунова» на черновых тетрадях, перемеживая стихи с прозой, от возвышенного монолога переходя к легкой песенке, не имеющей связи со всем творением,

менял работу, очевидно выжидал вдохновения, кружился над предметом, как орел над своей добычей, и дождавшись вожаденной минуты, орлом кидался в ту сторону, куда призывал его дух творчества. В подобные минуты работа шла быстро, но тем процесс не кончался. Окинув написанное зорким взглядом, Александр Сергеевич приступал к исправлениям, перемещениям, замене одних слов другими и, наконец, к исключению тех мест, которые, по его мнению, вредили сжатости целого. Тут являются перед нами благодаря труду г. Анненкова факты, после которых остается только склониться перед поэтом в невольном почтении. Поверит ли читатель, что следующие строки самим Пушкиным исключены из монолога Пимена, в той грациозной сцене «Годунова», когда будущий Лжедмитрий изображен спящим в келье седого инока, пишущего летопись. Инок говорит:

Передо мной опять выходят люди,  
Уже давно покинувшие мир,  
Властители, которым был покорен,  
И недруги и старые друзья,  
Товарищи моей прошедшей жизни...  
Как ласки их мне радостны бывали,  
Как живо жгли мне сердце их обиды!  
Но где же их знакомый лик и страсти?  
Чуть-чуть их след ложится легкой тенью —  
И мне давно, давно пора за ними!..

Вместо этих строк, единственно имея в виду сжатость монолога, поэт подставил два известные стиха:

Немного лиц мне память сохранила,  
Немного слов доходит до меня...

Подобных примеров строгости находим мы множество, а вероятно только незначительная их часть сохранена стараниями настоящего биографа. Из книги г. Анненкова мы видим, между прочим, как Пушкин исключил из рукописи «Онегина» то место, где Татьяна спрашивает у няни, когда и каким образом получил Евгений ее послание. Внук или сын старушки, лично вручивший соседу записку, рассказывает, что молодой барин, сидя на лошади, принял письмо и спрятал его в карман, не читавши. Весь рассказ, весьма живой, зачеркнут без жалости — той же участи подверглось в «Полтаве» описание сумасшедшей Марии, описание, грешившее немного мелодраматическим колоритом.

История небольшого стихотворения Александра Сергеевича «Воспоминание» (*Когда для смертного умолкнет шум-*



ный день), стихотворения, писанного в мае 1828 года, поучительна в том же самом отношении. После заключительной строки (*Но строк печальных не смываю*) следовали (в черновой рукописи) шестнадцать стихов<sup>20</sup>, почти беспримерных по красоте, энергии, глубокому чувству, в них разлитому, наконец, по какой-то особенной, прерывистой их музыкальности.

Со времени «Полтавы» и «Бориса Годунова» начинается значительный разлад между Пушкиным и его ценителями, считая в этом последнем разряде и читателей, увлеченных близорукою, а иногда и недоброжелательною критикою. «Полтава», как это всем известно, была неблагоприятно встречена журналами; «Борис Годунов», не возбудивший особенного негодования в журналах, подвергся несомненной холодности со стороны читателей. В обоих случаях русские критики того времени не выполнили своего долга: разборы «Полтавы» (даже похвальные) отличались детским незнанием дела; «Годунов» же, произведение важное, требующее разъяснений, пособий от критики публике, не имел даже и детских разборов. Нельзя достаточно удивиться этому обстоятельству. История Карамзина, жадно читавшаяся во всех сословиях, уже породила в то время страсть к родной старине; между литераторами двадцатых годов имелось много людей, способных, по мере своих сил, сказать необходимое слово о новом творении, стать посредниками между автором «Годунова» и нашей неопытною еще публикой: никто не помог Пушкину, никто не стал в посредники! «Сцена летописца», помещенная в «Московском Вестнике» за 1827 год, возбудила одни какие-то ленивые прения о стихе белом и рифмованном, одно тщетное празднословие о понятиях старого инокка. Влияние подобных толков оригинально подействовало на живую натуру Александра Сергеевича. Он не озлобился, как поступил бы Байрон на его месте, не окинул своих ценителей олимпийски равнодушным взглядом Гете, но на первых порах весь отдался откровенному, трогательному разочарованию. «Я каюсь в своих ошибках,— говорил он в одном письме, по видимому, заготовляемом для печати.— Мне чудилось, что вкус публики, утомленный правильностью древних классиков и бледностью их подражателей, ищет новых ощущений в кипящих источниках новой, народной поэзии... Но для чего писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка. Он должен владеть своим предметом, несмотря на

затруднительность правил, как он обязан владеть своим языком, несмотря на грамматические оковы... Все это сильно поколебало мою авторскую уверенность; я начал подозревать, что трагедия моя есть анахронизм... Воспитанные в правилах французской критики, русские привыкли к правилам, утвержденным этою критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под ее законы. Нововведения опасны й, кажется, не нужны...»

Переходя к частностям своего произведения, поэт выражается так: «Мне казалось, что характер Пимена вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь постигнутое Карамзиным и отразившееся в его бессмертном творении, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя. Что ж вышло? Нашли мнения Пимена запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм назваться стихами. Г-н З. предложил променять сцену «Бориса Годунова» на картинку «Дамского журнала». Тем и кончился суд почтеннейшей публики...»<sup>21</sup>

Есть нечто возвышенно прекрасное во всех здесь приведенных заметках. Это не протест гордого певца, заносчивого, ставящего себя выше всех своих читателей, не вопль уязвленного самолюбия, а благородная жалоба благородного труженика, обманувшегося в своих надеждах и вдавшегося в минутную грусть, так знакомую сильным сердцам. Вы сознаете, что сказанная грусть — одно облако, что поэты, подобные Пушкину, не теряют своих сил от испытаний подобного рода.

## 7

«С «Бориса Годунова», — сообщает нам автор «Материалов» для биографии Александра Сергеевича, — Пушкин ушел в самого себя, распростился на время с прихотливым вкусом публики и ее требованиями, сделался художником про себя, уединенно творящим свои образы, как он вообще любил представлять художника». Сам поэт писал около этого времени: «Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды... Публика и критика расплатились со мной совершенно. С этой минуты их строгость или равнодушие будут иметь на мой труд только одно малое влияние»<sup>22</sup>.

Чувство, под влиянием которого были начертаны только что приведенные строки, осталось за Александром Сергеевичем на всю его жизнь, принося огромную пользу его поэтическому дарованию и некоторый ущерб теоретическому взгляду самого поэта на родное искусство. В незрелости, детстве нашей критики Пушкин не хотел видеть никаких залогов к ее усвершенствованию, а вскоре и совсем перестал думать о критике<sup>23</sup>. На сбивчивые и еще невыяснившиеся потребности публики Александр Сергеевич стал глядеть то слишком унылым, то слишком насмешливым взглядом. Об этом недостатке воззрений поэта мы еще скажем несколько слов, говоря о «Современнике» и о Пушкине как журналисте.

Но в замен того до какой степени плодотворна, роскошна, обильна благами и обильна надеждами была поэтическая деятельность Пушкина за указанное нами время! «Семиверстными шагами» шел наш поэт по пути творчества, и гибкий, многосторонний его талант производил чудо за чудом. В тиши сельского уединения, с счастливой любовью в сердце, посреди тревожных вестей о холере, в то время еще невиданной гостье, Александр Сергеевич в первый раз наслаждался сладостью труда в одно время и долгого, и ничем не прерываемого, и вполне успешного. Он зажился до глубокой зимы в своем нижегородском имении, не имея силы распротиться с порой вдохновения, хотя обстоятельства требовали его присутствия в столице. Но выезжая из села Болдина, он приготовил для печати последние главы «Онегина», «Домик в Коломне», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Пир во время чумы» да сверх того более тридцати стихотворений, между которыми надо отличить «Бесы», «Каприз», «Мадонна», «Расставанье», «Минувших лет угасшее веселье», «Странник» и «Первое подражание Данту» (*В начале жизни школу помню я*); о других произведениях, подготовленных в это же время, мы еще скажем несколько слов в свою очередь.

Критически всматриваясь в сущность здесь указанных творений, мы некоторым образом проникаем в тайник души Александра Сергеевича и, если будет позволено выразиться, в лабораторию его гения. На время отрешившись от света с его хлопотами, от литературных кругов, с их подчас странными требованиями, поэт остался наедине с своей мыслью и поэтами, им любимыми. Он читал много, читал с наслаждением, выписывая запасы книг из Петер-

бурга и нетерпеливо поджидая их прихода. Он задумывался над прочитанным, делал отметки на страницах, выписывал в особые тетради то, что ему особенно нравилось, пробовал передавать русским стихом отрывки, особенно его волновавшие. Насколько мы можем догадываться вследствие некоторых указаний биографа, Пушкин у себя в деревне посвящал чтению все свободное время свое. Список вещам, перечитанным им за осень 1830 года, напоминает своей длиною список книг, читанных Онегиным. Наш поэт читал Шлегеля, Шиллера, Шекспира, Данта, Скотта, своего любимца Монтеня<sup>24</sup>; из новых французских поэтов — Гюго, Ламартина и Мюссе; впрочем, вся новая французская словесность была ему не только знакома, но и обсуждена им, может быть, с излишнею строгостью. Пушкин читал Вордсворта в то время, когда, может быть, во всей Европе (кроме Англии) человек десять читали Вордсворта, ныне столь прославляемого. Мильман, Вильсон<sup>25</sup>, Кольридж, Берри-Корнвельс<sup>26</sup>, поэты, или только что выступавшие на сцену, или только что входившие в известность, уже временами вдохновляли Пушкина; а на их темы он позволял себе фантазировать. Мало того, мы имеем полную причину думать, что наш поэт был знаком с творениями драматургов Елисаветинского периода<sup>27</sup>, предшественников Шекспира, по выпискам Лема<sup>28</sup> или по лекциям Гезлита<sup>29</sup>. Александр Сергеевич получал два предводительствующие (leading) обозрения: Quarterly и Эдинбургское<sup>30</sup>; знал их состав, следил за их полемикой и, рассуждая об основании критического журнала в России, указывал на них, как на образцы подобного издания. Сверх того Пушкину присылали большие запасы разных стихотворений на всех языках, ибо он считал необходимостью для каждого поэта — следить за трудами своих сверстников, где только было возможно. Итальянские, испанские, португальские, восточные поэты являлись в уединение нашего соотечественника в подлинниках и переводах, в отдельных изданиях, сборниках и даже хрестоматиях.

Нет сомнения, что Александр Сергеевич, получая и журналы и новые книги, не был чужд литературных вопросов, занимавших за двадцать пять лет назад Францию, Англию и Германию, но равнодушие нашего поэта к критике, а может быть и простой случай, сделали то, что мы не имеем почти никаких заметок об этом предмете. Читая великобританские обозрения своего времени, он хорошо знал ход борьбы, тогда кипевшей между школой леклистов<sup>31</sup> и по-

следователями Байрона, Скотта и Мура. Из его записок, мелких статей, заметок по поводу прочитанных сочинений мы изредка почерпаем выражения, явно заимствованные из светлых критических статей Джеффри<sup>32</sup>, шутивных рецензий Смита, полувдохновенных, полувзбалмошных тирад Кольриджа. В высшей степени любопытно было бы знать, например, мнение Пушкина о поэзии леклистов, об этом вопросе, который еще донныне не решен в Англии, а между тем уже успел обойти всю Европу, отразиться во всех литературах и, с разными видоизменениями, перейти и к нам в виде борьбы излишнего реализма с преувеличенной идеальностью, мысли — с картинностью, неясно понимаемой патетичности — с еще темнее понимаемой художественностью. Пушкин — наш Байрон и Скотт — должен был, после своей смерти, приобрести своего Вордсворта в Гоголе и леклистов особенного рода в людях, слишком отдавшихся гоголевскому направлению. К чести русской критики, столь юной, но уже достаточно здравомыслящей, должно присовокупить, что у нас весь антагонизм в направлении Пушкина и Гоголя высказался весьма умеренным образом, волнуя только весьма небольшое число людей, из числа занимающихся литературой, и ни разу не высказываясь в выражениях, обидных для той или другой стороны.

Но как огромны ни были занятия Пушкина по части изучения поэтов своих и чужеземных, как ни восприимчива была его счастливая натура ко всему новому, смелому, оригинальному, — наш автор по-прежнему двигался своим собственным путем, не увлекаясь ни одною из школ, тогда волновавших поэтические круги всей Европы. Грубый, растрепанный реализм юной Франции встретил в Пушкине строгого ценителя, что доказывается его статьями в «Литературной газете»; неестественная, единообразная простота леклистов, так сходная с простотой, которую некоторые кружки тщились и в наше время привить к русской словесности, не нашла в нем верного адепта. Остроумные филиппики Шлегеля не унизили в его глазах старой французской словесности, между тем как ухищрения приторно многоглаголивой музы Ламартина были, может быть, впервые разгаданы Александром Сергеевичем. Период тридцатых годов был периодом великого смятения во всей европейской поэзии; это знает всякий из наших читателей; а критика чужестранная, не имея детских сторон российской критики, сходствовала с нею по своей разноголосице. Пушкин стоял выше всех школ, выше всех советов, ибо верил в самого

себя и в разум человеческий. С русской терпимостью и с русской снисходительностью он глядел на все вокруг него творившееся, и оттого взгляд его не был близоруким взглядом литературного фанатика. Пушкин, *более чем кто-либо из поэтов*, умел примирять противоположности и становиться выше всех скоропреходящих вопросов об искусстве.

Оттого-то так и изумляет нас тот период его поэтической деятельности, о котором здесь говорится. Сильный своими познаниями, убежденный в своей самостоятельности, смело и благородно взирая на жизнь во всем ее бесконечном разнообразии, поэт наш трудится, подобно истинному художнику в те минуты восторга, когда творец произведения становится сам себе лучшим судьей. Ни заданной мысли, ни стремления провести какую-нибудь отвлеченную теорию не встретите вы в его созданиях. Увлекаемый натурою своею ко всему величавому, прекрасному, отрадному в жизни, он дает волю своей натуре и поет песни, от которых никогда не перестанет биться сердце русского человека. Он веселится, паясничает, влюбляется, плачет и трепещет с Дон-Жуаном; в лице Сальери развивает перед нами страдания честного, но завистливого труженика; в «Скупом рыцаре» переносит нас в фантастический мир средних веков; в «Пире во время чумы» волшебною кистью рисует нам картину зачумленного города и оргию безумцев во время заразы. Все эти создания навеяны честным трудом; в них нет так хвальной непосредственности; в них даже не имеется народности<sup>33</sup>, но может быть есть нечто высшее. Прекрасно быть поэтом своей земли и своего края, но что может помешать человеку громадного дарования петь для всего света, переноситься в края и эпохи, почему либо кажущиеся ему поэтическими.

В наше время не найдется человека, который бы осмелился печатно упрекнуть Пушкина за названные нами создания, но между запоздалыми любителями ложного реализма, из числа слишком исключительных приверженцев Гоголя, людей, не способных разом глядеть на обе стороны вопроса, нам случалось встречать нескольких скрытых противников «Каменного гостя», «Моцарта и Сальери», «Сцен из рыцарских времен». «Для чего поэт брал предметы не из нашей вседневной жизни,— так мыслят эти лекисты нового времени,— из-за каких причин он облачал свою музу в парчу, сталь и бархат, показавши своими прежними трудами, что она хороша и в скромном платье Татьяны,

и в еще простейшем, современном уборе? Для чего Пушкин черпал зародыши вдохновения из книг, хотя и знаменитых, зачем описывал он чуждые нам нравы, почему не глядел он вокруг себя и, опираясь на дарование свое, не возводил мелочных предметов в перл создания? В жизни редки Моцарты и Дон-Жуаны — ergo\* поэт, их изображающий, изображает не жизнь, при всех своих достоинствах! Отчего он не шел тем путем, который после него указан был Гоголем — поэтом более сильным и оттого ближайшим нашему сердцу?» Так говорят почтенные лекисты, забывая то обстоятельство, что Пушкин не раз спускался в рудники, из которых добывал золото Гоголь, между тем как муза Гоголя не могла и не смела никогда заноситься на ту мировую высоту, куда был, во всякое время, свободный доступ музе Пушкина.

8

Прозаические произведения Александра Сергеевича за указанный нами период стоят особенного внимания настоящих ценителей, и нам (может быть, мы и заблуждаемся) всегда казались странными журнальные отзывы об этих произведениях. Даже в «Материалах», нами разбираемых, г. Анненков как-то неохотно хвалит «Повести Белкина», упрекая их в бедности содержания и прибавляя, что в наше время нужна зоркость любителя для того, чтоб оценить их по достоинству. С таким отзывом мы согласиться не можем. «Повестей Белкина», по нашему мнению, не должен проходить молчанием ни один человек, интересующийся русскою прозою. «Повести Белкина» были первым опытом Александра Сергеевича в повествовательном роде; эти повести имели огромный успех в публике; а влияние, ими произведенное, отчасти отразилось чуть ли не на всех наших романах и повестях. «Повести Белкина» — книга увлекательная, прекрасная, светлая, как лучшие из глав, когда-либо написанных Гольдсмитом<sup>34</sup>, и, подобно лучшим страницам гольдсмитовых творений, уносящая своего читателя в мир ясных ощущений. Если нас восхищают поэты, знакомящие с смешною, темною стороною жизни, то по какому праву станем мы отказывать в нашей хвале писателю, раскрывающему перед нами другую сторону той же жизни — сторону спокойную, радостную и родственную ду-

---

\*следовательно (лат.).

ше нашей. Если мы по несколько раз с наслаждением перечитываем ссору Ивана Иваныча с Иваном Никифорычем, «Нос», «Коляску» и другие повести в том же роде, то какое право имеем мы отказывать «Повестям Белкина» в содержании? Если Пушкин ласково смотрел на нашу сельскую жизнь и если шутка его была незлобива, то на каком основании смеем мы требовать от него сатиры и карающего юмора? Если Пушкин, человек, много испытавший в жизни, страдавший от клеветы друзей и обид холодного света, человек, боровшийся, раскаивавшийся, заблуждавшийся, проводивший бессонные ночи, ливший горькие слезы много раз в течение своей жизни, находит средство глядеть на жизнь с ясной приветливостью,— нам ли осуждать за это Пушкина? Скажем более, нам его надо любить именно за это. Счастлив человек, выносящий из жизненного опыта подобную незлобивость, подобную способность к улыбке, подобное радушие к людям, подобную зоркость взгляда на всю ясную сторону жизни! Иногда на идиллию надо иметь более сил, чем на драму в мизантропическом вкусе; очень часто сатира дается легче, чем милая шутка. Но мы пока еще не хотим признавать сказанной истины, ибо, по нашей насмешливой славянской природе, мы всегда готовы увлечься человеком, потешающимся на наш счет и не идущим в карман за жестким словом.

Один из современных литераторов выразился очень хорошо, говоря о сущности дарования Александра Сергеевича. «Если б Пушкин прожил до нашего времени,— выразился он,— его творения составили бы противодействие гоголевскому направлению, которое, в некоторых отношениях, нуждается в таком противодействии»<sup>35</sup>. Отзыв совершенно справедливый и весьма применимый к делу. И в настоящее время, и через столько лет после смерти Пушкина его творения должны сделать свое дело. Изучая прозу Пушкина, его «Онегина», где изображен вседневный быт наш как городской, так и деревенский, его стихотворения, внушенные сельскими картинками, сельским бытом, мы приходим к началу того противодействия, той реакции, которая так нужна в текущей словесности. Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляем себя не к холодным его читателям), нельзя всей словесности жить на одних «Мертвых душах». Нам нужна поэзия. Поэзии мало в последователях Гоголя, поэзии нет в излишне реальном направлении многих новейших деятелей. Самое это направление не может назваться натуральным, ибо изуче-



ние одной стороны жизни не есть еще натура. Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением.

Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием. Очи наши проясняются, дыхание становится свободным: мы переносимся из одного мира в другой, от искусственного освещения к простому дневному свету, который лучше всякого яркого освещения, хотя и освещение, в свое время, имеет свою приятность. Перед нами тот же быт, те же люди, но как это все глядит тихо, спокойно и радостно! Там, где прежде по сторонам дороги видны были одни серенькие поля и всякая дрянь в том же роде, мы любуемся на деревенские картины русской старины, на сохнувшие и пестреющие долины, всей душой приветствуем первые дни весны или поэтическую ночь над рекою—ту ночь, в которую Татьяна посетила брошенный домик Евгения. Самая дорога, едучи по которой мы недавно мечтали только о толчках и напившемся Селифане<sup>36</sup>, принимает не тот вид, и путь наш кажется не прежним утомительным путем. Неведомые равнины имеют в себе что-то фантастическое; луна невидимкою освещает летучий мрак, малые искры и небывалые версты бросаются в глаза ямщику, и поэтический полет жалобно поющих дорожных бесов начинается совршаться перед глазами поэта. Зима наступила; зима—сезон отможенных носов и бедствий Акакия Акакиевича, но для нашего певца и для его читателей зима несет с собой прежние светлые картины, мысль о которых заставляет биться сердце наше. Мужичок с триумфом несется по новому пути на дровнях; на красных лапках гусь тяжелый осторожно ступает на светлый лед, собираясь плавать, скользит и падает к полному своему изумлению. Буря мглою небо кроет, плача, как дитя, завывая зверем и колыхая солому на старой лачужке, но и в диком вое зимней бури с метелью таятся своя упоительная поэзия. Счастлив тот, кто может отыскать эту поэзию, кто славит своим стихом зиму с осенью и в морозный день позднего октября сидит у огня, воображением скликаая вокруг себя милых друзей своего сердца, верных лицейских товарищей и воздавая за их дружбу сладкими песнями, не помня зла в жизни, прославляя одно благо!

Таков Пушкин с природой своего края, и чей язык поворотится на то, чтоб обвинить его в преувеличении, в идилличности? Таков он и с жизнью, которая, как мы

знаем, несла ему не одни радости; таков он с людьми, часто его не понимавшими и часто наносившими его сердцу неотразимые обиды. Не оптимизм, не стремление к розовым краскам увлекали музу Пушкина: и она умела смеяться сквозь слезы над людскими пороками, и она грозно глядела на невежд, издевающихся над треножником, над которым горел священный огонь ее поэзии. Александр Сергеич, превосходя своих преемников поэзией, превосходил их и силою души. В нашем заключении нет для них ничего обидного, ибо душа Пушкина была душой необыкновенного, развитого, любящего, высокопросвещенного человека. Оттого и труд его так прекрасен, оттого его жизненный опыт не принес с собой горького плода. В горах острова Сардинии есть одна необыкновенная долина, на которой все растения имеют от каких-то недостатков почвы вкус горькой полыни: долина эта сходна с душой многих поэтов, но никак не с душой Пушкина. К этому певцу ни один из поздних потомков не обратится с известными, горькими стихами из гетевского «Прометея»: «Ты хочешь, чтобы я чтил тебя — за какие заслуги стану я чтить твое имя? Умел ли ты отирать слезы плачущих, уменьшать тоску страждущих?» — «Имя Пушкина будет навеки обожаемо миром, ибо он свято выполнил назначение поэта, рассыпая вокруг себя блага поэзии, стихом своим возбуждая светлые улыбки собратий, плача вместе с удрученными и своей веселостью усиливая радость счастливых». Оттого-то и надо нам произнести слово вечной хвалы над прахом нашего незлобного, любящего, великого поэта; оттого нам следует запомнить каждое слово, когда-либо им сказанное, и смело устремиться по его следам, на указанную им дорогу!

Мы, по-видимому, увлеклись в сторону от повествовательной прозы Александра Сергеича, но, возвращаясь к предмету, о котором начали говорить в начале нашей главы, находим, что отступление наше, несмотря на свой некоторый лиризм, вполне передает те идеи, которые мы намеревались развить более последовательным образом. Деятельность Пушкина, как автора «Повестей Белкина» (с «Летописью села Горохина»<sup>37</sup>), «Капитанской дочки», «Пиковой дамы» и «Дубровского», кажется нам деятельностью в высшей степени благотворною. Проза нашего поэта есть не только необходимое дополнение к его поэзии, но и предмет полезного изучения для новейших повествователей. Когда Пушкин начал писать прозою, критики его

времени, избалованные «красотой слога», находили его прозу чересчур простою. Ныне, может быть, найдутся ценители, готовые признать ее направление идиллическим и даже отклоняющимся от простоты вседневной жизни. Замысловатость, с которой построен каждый из самых маленьких рассказов Белкина, может быть, кажется чем-то сказочным иному лекисту наших времен. Что до нас, мы думаем, что повести Пушкина вполне оценятся, только когда начнется в нашей литературе законная, безобидная реакция против гоголевского направления, — а этого времени ждать недолго.

9

Мы уже достаточно знакомы с частной жизнью Александра Сергеевича и оттого можем сказать утвердительно, что для него месяцы, проведенные посреди труда, в Болдине или в селе Михайловском, были истинно сладкими периодами жизни. Оставляя в стороне наслаждения умственным трудом, дружеские сношения с соседями, мы все-таки видим очень ясно, что деревня и природа имели великую прелесть для поэта. Составитель «Материалов» не раз дает нам заметить противное в продолжение своего труда, но его заметки о страсти Пушкина к свету и городскому шуму надо принимать *cum grano salis*\*. Юношеские произведения Александра Сергеевича в похвалу городку, уединению, сельской природе и так далее нам кажутся не раздражением чужой мысли, а голосом действительной потребности. На одно стихотворение «Каприз» (*Румяный критик мой, насмешишь толстопузый*), изображающее унылую сельскую сцену, мы найдем двадцать, совершенно противоположных по духу. Если Наталья Павловна в «Нулдине» видит из своего окна пейзаж, наводящий скуку на сердце, зато Татьяна рисуется перед нами посреди восхитительнейших картин чисто русской природы. Г. Анненков с обычной своей зоркостью взгляда подмечает одно весьма характеристическое обстоятельство. Пушкин, набрасывая многие из своих сельских картин, «подходящие к пестрому сору фламандской школы», сетует на самого себя за то, что быт, далеко противоположный поэзии Байрона и Шенье, тянет его к себе неведомой силой. Но наш даровитый биограф, указывая на строфы из «Онегина», в которых выражена эта мысль, не прибавляет того, что следовало бы к

\* с некоторой иронией, букв. — «с крупицей соли» (лат.).

ним прибавить. Пушкин именно велик потому, что умел у Бахчисарайского фонтана воображать перед собой Зарему, не мечтая о фламандском соре, и впоследствии изображать тихие картины русской природы и находить в них прелесть и не осуждать через это фонтанов с Заремами. Многосторонность душевной восприимчивости ставит Александра Сергеевича выше всех наших поэтов. Он воспевает страну, где пел Торквато<sup>38</sup>, где растут гордый лавр с кипарисом, но не умеет с кислой улыбкой отворачиваться от своей родной Псковской губернии. Поэт крымских берегов не гнушался северной природой, снеговые верхи Кавказа не испортили для Пушкина степей оренбургских и лесистых берегов Волги. У Пушкина всему было место, и душа его была способна давать свой отзыв не на одни только громкие призывы, не на одни яркие картины. Поэт строил свои здания из материалов, находившихся у него под руками, не оставляя идеала для действительности, а действительности для идеала. С Дантом уносился он за дивной покровительницей сурового изгнанника<sup>39</sup>, няню свою Арину Родионовну заставлял он рассказывать себе русские сказки и чудным своим стихом передавал читателю простые рассказы старушки.

Мы с намерением останавливались так долго над периодом пушкинской деятельности в тот самый год, когда в частной жизни поэта произошло радикальное и полезное изменение. Кончая свою холостую жизнь и готовясь к годам спокойствия, Александр Сергеевич словно прощался с молодостью и подводил итоги своим интеллектуальным сокровищам. Творения его за 1830 год показывают, до какой степени был удовлетворителен этот итог. Из края в край широкой русской земли могла носиться муза Пушкина, всюду свершая свое назначение, всюду сознавая себя сильною, извлекая поэзию из великих и малых событий жизни, черпая предметы песнопения из истории и сказок, останавливаясь с равной готовностью и перед радостной и перед грустной стороной нашего существования. Быстро подходила для поэта пора полной зрелости в таланте, полного самосознания в направлении. Стройные массы превосходного войска стояли в готовности; гению полководца оставалось только их двинуть в ту или другую сторону. «В это время,— говорит наш составитель «Материалов» для биографии Александра Сергеевича,— Пушкин испытывал себя во всех родах поэзии; для самого себя набрасывая переводы из поэтов, особенно его поражавших, повести,

драматические сцены, тирады во вкусе Боало<sup>40</sup>, монологи из Альфиери, явления из небывалых комедий, заметки, относящиеся к истории своей и чужой словесности. Но в то же время главный поток его творчества обозначался тем явственнее, чем обильнее кружились около него мелкие ручейки и речки. Эпическое настроение, которое вслед за этим годом развилось у Пушкина и определило всю его поэтическую деятельность, проявляется перед нами в ряде спокойных поэтических рассказов, которые в невозмутимом своем течении открывают мысли читателя далекое, необозримое пространство. С 1830 года (мы все-таки говорим словами г. Анненкова) мысль поэта начинает преимущественно выбирать *повествование* для своего проявления и вместе с тем подчиняется величавому, строгому, спокойному изложению, которое поработает читателя невольно, неудержимо и беспрекословно. Таковы стихотворения «Полководец», «Однажды странствуя среди долины дикой», «Он между нами жил», оба подражания Данту и проч. Эпический тон этих вещей ясен для слуха, наименее изошренного. Стремление Пушкина к эпосу, по всей вероятности бессознательное, *обнаруживается впервые с 1830 года(?)* и затем не оставляет его до конца «поприща».

За многие из высказанных здесь замечаний мы должны благодарить составителя «Материалов», хотя общий его вывод кажется нам не совсем правильным. Мы не видим никакой причины признавать эпическое направление в «Полководце», не признавая его во многих предшествовавших стихотворениях Пушкина, и в «Медном всаднике» впервые усматривать те черты, которые и до него красили собой «Полтаву». Мы не знаем, отчего дивно поэтическое начало неизвестной поэмы «Свод неба мраком обложился»<sup>41</sup> составляет противоположность с началом самых последних поэм Александра Сергеевича. Но если г. Анненков желает сказать, что с 1830 года, в период сильнейшего развития творческих сил поэта нашего, он особенно полюбил эпическое направление и отдался ему со страстью,— мы беспрекословно соглашаемся с его приговором. И согласившись с ним от всего сердца, мы от всего сердца скажем, что Пушкин, действуя сказанным образом, действовал как нельзя сообразнее со всем своим развитием и с сущностью своего великого дарования.

Наш поэт имел все качества, нужные поэту эпическому, не имея, например, всех качеств, нужных драматическому

писателю. Образованность Александра Сергеевича, о которой мы говорили столько раз, делала для него легкими те задачи, перед которыми в бессилии останавливались менее сведущие писатели. Муза нашего поэта, всегда гибкая, спокойная даже в минуты увлечения, обогащенная всеми дарами жизни, наблюдательности и живой науки, влекла его к повествовательному роду. По некоторым качествам повествователя, как то: по способности замысла, по обилию поэтического чутья, облагораживающего каждый предмет, взятый истинным повествователем,— Александр Сергеевич не имел поэтов себе равных между величайшими поэтами нашего столетия. Если позволено будет здесь употребить термин, обычный в разговоре по живописцам, мы скажем, с полной уверенностью, что по сочинению своих повествовательных вещей Пушкин превосходил и Байрона, и Мура, и Ламартина, и Крэдда, и Вордсворта, и Кольриджа, и Гейне. Смеем спросить, в какой литературе за последние годы можем мы найти план поэмы, подобный плану «Цыган», по своей простоте, замысловатости и возвышенной мысли так тесно слившейся со всею ее постройкою? «Онегин», задуманный в то время, когда наш поэт находился под влиянием Байрона, «задуманный более для отступления, чем для самого рассказа», в целом представляет один из занимательнейших романов, когда-либо приходивших на мысль самым высокодаровитым писателям. Уступая Байронову «Дон-Жуану» во многих частностях, насколько превосходит он эту великую поэму по своей стройности, внешней занимательности, мастерскому сочетанию рассказа с лиризмом, неожиданностью развязки, своему влиянию на любопытство читателя. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» в этом отношении весьма слабы, но зато Пушкин, первый из публики, видит их недостатки, сознает их *зелеными* произведениями. Превосходная способность к сочинению снова отражается в шуточных поэмах, между которыми «Домик в Коломне» есть совершенство своего рода, и опять во всей славе является в «Борисе Годунове», в «Каменном госте», произведениях, которые, конечно, должно причислить к поэмам, несмотря на их драматическую форму<sup>42</sup>.

Не надо забывать и того обстоятельства, что с самых первых лет своей поэтической деятельности до последнего ее года включительно Александр Сергеевич непрерывно задумывал эпические произведения, писал начала новых поэм, переводил места из поэм, его особенно поразивших,

и постоянно пробовал свои *эпические крылья*, поднимаясь по одному и тому же направлению. Весьма легко, просматривая его попытки, отличить простой этюд от начала вещи, задуманной со страстью. Никто не скажет, что комическая тирада в роде кн. Шаховского, найденная в бумагах Пушкина г. Анненковым, должна была служить краеугольным камнем отличной комедии; но что из отрывка «Кромешник» (или «Опричник») <sup>43</sup> через несколько лет могла создаться поразительная поэма — этого, кажется, никто отрицать не может. Едва ли кто-нибудь возьмется утверждать, прочитав отрывок из «Альфиери» <sup>44</sup>, что Пушкин думал идти по стопам италиянского трагика; но великолепное начало «Валленрода» <sup>45</sup>, где описывается Неман, отделявший Литву от владения немецких рыцарей, имеет свою цель и свое значение. Начала поэм, за которые в разное время брался Пушкин, прекращая свой труд и выжидая минут вдохновения, могут составить маленький томик, исполненный великого смысла. Как понимает наш поэт всю поэзию той или другой исторической эпохи, той или другой страсти, того или другого момента из жизни человеческой! Как рвется он душой ко всему трогательному, грандиозному, возвышенному; как налетает он на свой предмет и огненными словами вводит нас в самое сердце повествования! Возьмите начало новгородской повести, о которой мы, кажется, упоминали недавно: «Свод неба мраком обложился» — что за открытие рассказа, что за *mise en scène!*\* Кого не поразит эта картина Варяжского моря, этих суровых берегов, приезд лодки с двумя путниками, их отдых у огня, их характеристика и наружность! Далее, переходя к рассказу старого янычара в отрывке «Стамбул гяуры нынче славят», мы видим ту же громадную способность сочинения, уже окрепшую, уже устанавливающуюся и пророчащую так много! Нет сомнения, что рассказы об истреблении янычар, об этом событии девятнадцатого столетия, по своим ужасным подробностям уносящего наше воображение в эпохи самые отдаленные, — сильно занимали Пушкина, и во время его нахождения при нашем войске, между городами и населенными азиатской Турции, породили в нем мысль несравненной поэмы. Поэма не подвинулась далее начала, ибо, владея великою способностью сочинения, Пушкин все-таки сознавал, что она еще у него не вполне разработа-

---

\* мизансцена, сценическая постановка действующих лиц (*фр.*).

лась. «Египетские ночи» были тоже началом поэмы, о прелесть которой мы можем только догадываться, — потребность спешной работы (и, конечно, богатство других планов) побудило Пушкина втиснуть этот отрывок между страницами очень хорошего рассказа, нейдущего к «Египетским ночам», точно так же как «Египетские ночи» нейдут к похождениям г. Чарского.

Сознавая в себе великие способности к эпическому рассказу, сердцем прилепившись к одному известному роду произведений, Александр Сергеевич все-таки сознавал с ясностью, что способность сочинения эпических вещей ему трудно дается. В период прежнего юношеского бесстрашия поэт творил сгоряча, иногда попадая в цель, иногда делая промахи; после «Цыган» набрасывая, например, «Полтаву», поэму обильную красотами всякого рода, но несравненно слабейшую по своей конструкции. В настоящую пору развития сил и строгости подобным путем нельзя было действовать. Одним трудом, и неотступным трудом, поэт стал вырабатывать себе то, в чем он еще нуждался. Народные рассказы, к которым он всегда питал расположение, поразили его последовательной простотой своего изложения, — Пушкин написал несколько сказок, строго держась сказочной бесхитростности, и несколько раз уловил ее в совершенстве. Его «Анджело», составленный около того же времени, грешит сухостью рассказа, но как этюд — вещь замечательная. Сжатость формы, текучесть повествования, бедность поэтических украшений поражают нас и в «Песнях западных славян», переведенных Пушкиным из известной книги Мериме, подделки, породившей столько толков, ничего не доказывающих<sup>46</sup>. Нам кажется, что, по временам, труды в сказанном роде немного утомляли самого Пушкина; так, например, бесподобно передавая поэтическую легенду «Видение короля», он как бы неохотно подступает к другим песням, более бедным поэтической прелестью. В собственных вещах поэта, относящихся к тому времени, но оставшихся без отделки, видим мы то же стремление к сжатости рассказа, но уже смягченное всегдашними красотами.

А между тем рядом с такими работами шли другие: Пушкин рылся в архивах, издавал «Историю Пугачевского бунта», собирал материалы для «Истории Петра Великого» и приступал к изданию «Современника».



Все почти великие деятели русской словесности были не простыми певцами, но вместе с тем и *учителями* своих читателей, принимая слово «учитель» в его весьма прозаическом смысле. Иначе и быть не может в обществе еще юном, еще недавно призванном к образованию. «Петь подобно птице», о которой говорит бард у Гете<sup>47</sup>, можно только посреди народа, изнеженного давним образованием, немного одряхлевшего и нуждающегося в одном лишь умственном развлечении. Там, где масса избранных читателей, по учености своей, сама способна давать советы поэту, — поэт может мыслить только о своем таланте, приносить его к требованиям строгих ценителей, не уклоняясь в сторону от пути, им обусловленного. У нас, в России, великие писатели всегда стояли впереди своих читателей, сами образовывали общество, поучая тех, кто жаждал познания, трудясь над самым органом своих песнопений, то есть над русским языком, еще и поныне не вполне установившимся. Им не приходилось петь для самих себя и уединяться вдаль от русского народа, к вершинам Геликона. Ломоносов не посвящал оде всей своей жизни — он обрабатывал русскую грамматику, набрасывал исторические заметки, думал о русском театре, занимался естественными науками. Карамзин не отдавался одному какому-либо роду деятельности, но прерывал лучшие труды свои для того, чтоб сеять вокруг себя благие начатки образования, знакомить современников с ходом иностранного искусства, указывать писателям новые пути и руководить их своим примером. Жуковский делал то же самое, хотя не издавал ни журналов, ни критических трактатов — своими переводами он привлекал внимание читателя к чудесам немецкой и британской словесности, знакомил его с законами новой драмы, в то же время пробуждая нашу дремлющую критику, посредством вопроса о *романтизме*, как его понимали в то время. Пушкин в этом отношении остался, по самому ходу вещей, совершенно верен системе своих предшественников. В дидактическом своем влиянии на русскую публику он соединял в себе Карамзина с Жуковским, подобно второму действуя через прямое влияние примера и, по методу Карамзина, входя в более прямое соотношение с своим читателем. Лирик и историк, переводчик и романист, эпический поэт и повествователь, Пушкин представил России драго-

ценные образцы деятельности во всех родах, даже ему не симпатических. Но одних образцов оказывалось недостаточно — развитие вкуса в массе читателей шло слишком медленно, по убеждению нашего поэта. Пушкин нашел возможность посвящать часть своего времени деятельности другого рода. Подобно Карамзину, в лучшие годы его деятельности, Александр Сергеевич находил время на журнальное сотрудничество, на рецензии, заметки, этюды, очерки, сатиры против того направления словесности, которое казалось ему ошибочным. Ни промахи нашей критики, ни личности задорных противников, ни детская неразвитость журнальных деятелей, не были способны отклонить поэта от прямых бесед с публикой. Мысль об издании газеты или журнала в роде английских трехмесячных обзоров преследовала Пушкина в последние десять лет его жизни. Смешно было бы утверждать, что автор «Медного всадника», всегда нерасчетливый и всегда нуждавшийся в деньгах, не видал денежной стороны во всем вопросе, а руководился только одной идеальной потребностью просвещать читателя. Но утверждать, что Пушкин имел в виду одну корыстную цель — было бы и смешно и недостойно. Журнал, в то время, не мог давать больших доходов. Вся предшествовавшая деятельность Пушкина показывала в нем человека чуждого всем мизерным расчетам.

Со всем тем, переходя к обзору деятельности Александра Сергеевича как журналиста, мы ощущаем какое-то невольное замешательство. «Современник» начал выходить в 1836 году; первые его книжки, украшенные именами первоклассных деятелей русской словесности, возбудили общее одобрение, но одобрение это относилось к одному лишь чисто литературному отделу журнала. В целом своем составе книжка «Современника» была несравненно суше книжек соперничавшего с ним журнала<sup>48</sup>; между тем как этот недостаток не выкупался никаким особенным достоинством по критической части. Было даже что-то устарелое, альманашное в кратких рецензиях «Современника» на новые книги, в бедности мелких статей и, главное, в отсутствии строгой, прочной системы по редакции самого сборника. Г. Анненков сообщает нам, что причину основания «Современника» должно, прежде всего, искать в противодействии насмешливому, парадоксальному взгляду на словесность, начинавшему высказываться в некоторых из русских журналов; но, в таком случае,

Пушкин, как журналист, владея авторитетом первого русского поэта, сделал слишком мало противодействия тому взгляду, который ему так не нравился. Такие рецензии, как, например, рецензия альманаха «Мое новоселье» («Материалы», стр. 418), такие похвалы, как, например: «г. N идет вперед. Желаем ему успеха и надеемся часто говорить о его произведениях», не могли особенно занять публику и возбудить в уме ее должную реакцию против шуточного направления тогдашних критиков. Составитель «Материалов» говорит, что богатство литературного отдела в «Современнике» доказывает серьезное направление его редакции. С этим нам трудно согласиться, ибо мы знаем, что журналы того времени, отличавшиеся шутливостью своих рецензий, равным образом не были бедны изящными произведениями в первые годы своего существования. Не лучше ли будет нам просто сознаться, что Пушкин или не имел всех достоинств, нужных редактору периодического издания, или (что будет вернее) не имел времени сделать из «Современника» любимейшее чтение для русских читателей? Не вернее ли будет предположить, что наш великий поэт, вступая в свой величайший период творчества, не мог с любовью заниматься журнальным делом, что он не имел дара группировать вокруг себя молодые таланты, что он утратил охоту к журнальным словоприениям и что в Александре Сергеече развивающийся богатырь поэзии убил скромного, но неутомимого журналиста? Слава нашего певца так велика, что небрежность по изданию трех или четырех журнальных книжек несколько не может повредить его памяти!

Несмотря на наше полное убеждение в том, что «Современник» за время его издания Александром Сергеечем имеет значение отличного альманаха, но никак не обозрения, мы все-таки должны смягчить наш приговор о журналисте Пушкине не одним похвальным замечанием. Поэт наш любил трудиться тихо и сверх того был зорок на собственные свои недостатки. Не раз случалось нашему писателю слабо начинать дела, приведенные впоследствии к блистательнейшему окончанию. Из первых страниц «Онегина» с описанием ресторации и заметкой о крае ногтей, трудно было угадать читателю всю поэтическую прелесть романа, — по первым книжкам пушкинского журнала нельзя еще с полной уверенностью судить об Александре Сергеече как о редакторе. Не имея многих качеств, необходимых журналисту, поэт наш владел дру-

гими достоинствами, без которых всегда почти обходились славнейшие из журнальных деятелей, как старых, так и новых.

По многим делам Пушкина видим мы его пламенную любовь к родной словесности, уважение к читателю, искреннее, теплое участие к молодым талантам. Он первый приветствовал начинания Гоголя, дал ему два сюжета для двух его произведений — «Ревизора» и «Мертвых душ» и по поводу «Вечеров на хуторе»<sup>49</sup> сказал несколько слов о языке и о сложной щепетильности читателей. Свою великую начитанность наш поэт не таит про самого себя и в этом отношении способен приносить большую пользу каждому периодическому изданию. Он жаждет пересказать читателю все его поразившее во время чтения, познакомить его с неизвестным у нас поэтом, рассказать ему анекдот, только что заставивший его смеяться, — одним словом, считает своим долгом становиться в постоянные посредники между публикой и всем тем, что его самого занимает. Взгляните, как он хлопочет о том, чтоб перевести Берри Корнвалля, чтоб ознакомить публику с живым сочинением госпожи Дуровой<sup>50</sup>, доставившим ему столько удовольствия; как он излагает своим мастерским слогом приключения Джона Теннера<sup>51</sup>, в сущности, едва ли достойные такой чести! Вместе с этими достоинствами у Пушкина, как у журналиста, является своего рода литературное рыцарство, так важное во всякую пору, но особенно характеристическое в то время, так обильное литературными несогласиями. Он не бранится ни с кем, но долгом считает — укрыть кого только может от несправедливых нападений. Ему заметили в каком-то месте, что «Современник» будет продолжением «Литературной газеты» Дельвига<sup>52</sup> — и Пушкин, полный уважения к памяти друга, спешит заступиться за нее достойным образом. Другой раз, по поводу Виландовой поэмы «Вастола»<sup>53</sup>, изданной Пушкиным, рецензенты дали заметить, что поэту лучше было бы выдать денежное пособие переводчику поэмы, не позволяя ему прикрывать плохие произведения любимым и знаменитым именем. «Мы не ждали такого жестокого обвинения, — пишет в ответ Александр Сергеевич, — переводчик Виландовой поэмы, человек небогатый, но честный и благородный, мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но, конечно бы, не принял милостыни от кого бы то ни было». Отрадно останавливаться на таких чертах, ясно подтверждающих неоспори-

мую для нас истину о том, что высокое дарование всегда бывает неразлучно с высокими душевными качествами. Рецензии новых книг, помещенные Пушкиным в «Современнике», при всей их сухой торопливости, по временам заключают в себе искры, способные превратиться при должном труде в полезный светильник критики. В немногих строках о втором издании «Вечеров на хуторе» сказано, что «Старосветские помещики» *есть шутливая, трогательная идиллия, заставляющая смеяться сквозь слезы грусти и умиления*<sup>54</sup>. Эти две строки породили чуть не целые томы со стороны последующих критиков. Произнося отзывы по поводу книги «Походные записки артиллериста», Александр Сергеевич роняет такие слова: *«простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься»*<sup>55</sup>. Эта самая мысль развита в наше время Маколеем<sup>56</sup>, в ряде глав, которым справедливо дивится вся читающая Европа.

Не мешает, наконец, кончая наш вывод о достоинствах и недостатках Пушкина как журналиста, припомнить читателю самую цифру года, первого года издания «Современника». Первая книжка сказанного издания появилась в марте 1836 года, последняя, 4-я книжка выпущена была в свет в ноябре, за три месяца до кончины поэта. В этом году Пушкин имел в своей наковальне (как выражался Скотт) «Галуба», «Русалку» и «Медного всадника». В этом году Пушкин трудился над историей Петра Великого. В этом году зрела и близилась катастрофа, лишившая наше отечество первого из его великих поэтов.

## 11

«Русалка», «Галуб» и «Медный всадник» представляют последнюю грань, до которой достиг талант Пушкина, а читатель хорошо знает, что из трех названных нами произведений только последнее дошло до нас конченным, да и то напечатано после смерти поэта,— значит, без окончательных поправок, какие Александр Сергеевич мог бы ему придать, по своему усмотрению. Несмотря на тот вид, в каком дошли до нас названные три произведения, какой читатель не преклонится перед этими тремя памятниками могучего творчества, не преклонится в немом благоговении, сказавши вместе с издателем разбираемой нами биографии: «это не окончание поэтической деятельности, но скорее начатки чего-то великого!» «Пушкин начинал тяжело»,— говорит нам г. Анненков. «Как дуб, предназ-

наченный на долгое существование, он вначале развивался тихо, раскидывая ветви свои, с каждым годом, шире и шире». Нельзя не согласиться с таким замечанием, пересматривая посмертные вещи великого поэта нашего; нельзя не подивиться правильной последовательности пушкинского развития; нельзя не сознать всей душою той неоспоримой истины, что в Александре Сергеевиче готовился миру поэт высочайшего разбора, родной брат Байрону, Гете и, может быть, Шекспиру. Деятельность последних лет его жизни, не есть деятельность певца местного, просто талантливого, предназначенного на славу в одном только крае и в одном только столетии. Под «Медным всадником» и одновременными с ним произведениями — величайший поэт всех времен и народов, без стыда, может подписать свое имя.

Есть своего рода прелесть в неконченной картине великого мастера, обильное поучение таится в творениях поэтов истинных — творениях, ход которых прерван безжалостной смертью. Здесь иногда недостаток законченности выкупается личностью самого труженика, не умевшего укрыться от глаз его поклонников, между тем, как отсутствие полной обработки позволяет нам глубже проникнуть в процесс самого творчества. Знаменитейшие из произведений Пушкина, изданные в первый раз после смерти поэта, подобны статуям гениального ваятеля, по которым еще не прошел инструмент полировщика, и в которых иные подробности еще не отделаны самим художником. Сколько сокровенных черт вдохновенного резца открывается перед нами: как великолепен вид самого матового, иногда угловатого мрамора! Какою особенною свежестью дышит все произведение, над которым его отец, кажется, еще сию минуту трудился! Поспешим же окинуть внимательным взглядом труд, нами упомянутый, и, по мере сил наших, проследить за последним проявлением гения в нашем гениальном учителе.

Во всех трех поэмах (само собой разумеется, что «Русалка» мы не намерены называть иначе, как поэмою) способность замысла, всегда так блистательная у Пушкина, достигает своего апогея. По *сочинению* «Медного всадника», «Галуба» и «Русалки» Пушкин велик как никто; долгий труд и работа над эпическими произведениями принесли за собой роскошный плод; плод, так давно ожидаемый. Если «Медный всадник» так близок к сердцу каждого русского, если ход всей поэмы так связан с ис-

торией и поэмой города Петербурга, — то все-таки поэма в целом не есть достояние одной России: она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди, способные понимать изящество. Передайте «Медного всадника» на какой хотите язык, прозой или стихами, с комментариями или даже без комментариев, — и будьте уверены, что ваш труд не пропадет напрасно. Тут важна не одна гармония стиха, не один местный колорит.

Шекспир все-таки Шекспир и в переводе Летурнера<sup>57</sup>; Бернс прекрасен и в прозе; а мы не верим в величие местных поэтов — поэтов одного уголка — поэтов, о которых не знает никто, кроме их соотчичей. «Медный всадник» есть вещь общедоступная, произведение европейское. Он изобилует совершенствами всех родов, начиная от своего величавого начала до последней неслыханно грандиозной сцены: когда гигант на бронзовом коне скачет за несчастным юношей, потрясая мостовую копытами металлической лошади, и в бледном сиянии луны простирает вперед свою грозную руку! Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими эпохами народной истории, — беспредельна, изумительна и нова до крайности, между тем как общая идея всего произведения по величию своему принадлежит к тем идеям, какие рождаются только в фантазиях поэтов, подобных Данту, Шекспиру и Мильтону!

«Медный всадник» имеет и свои недостатки — скажем это с полной смелостью, но этими недостатками отчасти подтверждается величие самого поэта, ибо тот, кто по красотам поэзии возносится в разряд мировых деятелей, и судим должен быть не по общепринятому снисходительному кодексу. Мы сказали уже, что смелость, с которою Пушкин противопоставил судьбу своего бедного мальчика Евгения с судьбой нашего родного Петербурга и памятью великого Преобразователя России, заслуживает удивления, но нам следует добавить, что поэт, извлекая десятки красот из своей необыкновенной темы, по временам чувствует как бы неловким свой поэтический замысел. Предварительный труд Александра Сергеевича, отчасти переданный нам его биографом, ясно показывает замешательство, про которое мы сейчас говорили. Начало поэмы, сохраненное в мелких стихотворениях, под названием «Родословная моего героя», есть отрывок из «Медного всадника». Несколько других отрывков, без жалости отброшенных Пушкиным, свидетельствуют о его желании яснее

обрисовать Евгения и вместе с тем о труде, какого ему стоила личность молодого человека. В этом отношении дух анализа, такт критика, так сильно развивавшиеся в Пушкине вследствие его недавних этюдов, по временам не дают воли его творчеству. Оттого Евгений бледен как лицо, и лицо такой великой поэмы, где все ясно, определено, пропитано поэзией, доведено до крайних пределов изящества. Г. Анненков на стр. 383 своих «Материалов» говорит нам: «Иначе и быть не могло. При описании катастрофы, которая одна должна занимать читателя без всякого развлечения, всякая остановка на частном лице была бы приметна и противохудожественна. По глубокому пониманию эстетических законов, Пушкин даже старался ослабить и те легкие очергания, которыми обрисовал Евгения». Не скроем нашего заключения: подобные строки были прекрасны в устах панегириста, но никак не ценителя. Несмотря на все благоговение к памяти Александра Сергеевича, мы смело упрекаем его Евгения в бесцветности. О том, что можно и должно бы было выйти из Евгения, может только судить поэт, подобный Пушкину. Ни наши предположения, ни наши объяснения, ни наши панегирики не могут иметь места там, где высказываются гениальные люди, из ничего творя жизнь и образы.

Поэма «Галуб», начатая в 1829 году, неконченная и напечатанная только после смерти Пушкина в его «Современнике», опять поражает нас великолепием основной мысли. История отрока, воспитанного посреди народа, с которым и его характер и требования нравственной природы вполне расходятся, долго занимала нашего поэта и не могла остаться без окончания, подобно многим другим блистательным замыслам. Мы знаем, что Александр Сергеевич имел одно время в виду план романа из старой русской истории, романа, основанного на подобной же счастливой мысли, — но эпическое начало преодолело, а вторая поездка на Кавказ, столь любимый нашим писателем, поселила в его голове мысли еще более глубокие, еще более поэтические. Об исполнении оконченных частей Галуба мы не будем распространяться: и прелесть произведения и его артистическая отделка всеми беспрекословно признаны.

Но о «Русалке» мы умолчать не можем, хотя все ее достоинства давно уже нашли себе восторженных пояснителей. Тут мы видим Пушкина на одной дороге с Шекспиром, за готовым, вычитанным планом, за простой леген-



дою, за сказочкою, многими поколениями слушанной до нашего поэта, за одною из тех простых тем, о которых сотнями сокрушают себе крылья художники не первоклассные. И несмотря на невероятную трудность задачи, все произведение дивит нас как замыслом и сочинением, так и высокой гармонией подробностей. Поэзия, которой проникнута вся «Русалка», от первой строки до последней, — беспредельна, как горизонт небесный; читая всю поэму, человек испытывает нечто подобное тому чувству, с каким мы смотрим на небо в ясную ночь, когда звезда за звездой открывается внимательному глазу и бесконечные, поражающие пространства с каждой минутой открываются перед созерцателем. Нужно много слов для того, чтобы перечислить красоты поэмы, но если мы захотим анализировать эти красоты, определить их сущность, — слова покажутся слабыми. Анализировать поэзию «Русалки» нам кажется труднее, нежели давать отчет о прелести удачнейших музыкальных произведений Мендельсона. В этом посмертном творении Пушкина находим мы все, что составляет прелесть поэмы бессмертных и первоклассных — величественную стройность целого, безукоризненную прелесть в малейших подробностях, силу замысла, роскошь фантазии, простоту и общедоступность плана, а наконец стих, действующий на нас, подобно великолепной музыке, уносящей душу читателя в тот заповедный мир, где самые звуки простых слов рождают собой и мысль и рой поэтических образов.

В «Русалке» Пушкин весь отдается *романтизму* (принимая это слово в том смысле, как его понимал Александр Сергеевич)<sup>58</sup> и, избравши себе тему из древнего славянского мира, не стесняется ни историею, ни сценическими условиями, ни правами своих действующих лиц. Его славянский князь бродит по берегам, бывшим свидетелями счастливой любви, и вспоминает о своей возлюбленной; молодая мельничиха гибнет смертью Офелии, и отец ее произносит речи, исполненные шекспировской силы. По-видимому — что за романтические описания, что за романтическое обхождение с своими героями! Но, не защищая романтизма, в том значении, какое ему придавали близорукие поклонники Шлегеля и второклассные германские поэты, и русские поэты, жившие в одно время с Пушкиным, мы должны сказать, что певцы высокоталантливые, и в числе их автор «Русалки», имели свою теорию романтизма, не вполне высказанную ими самими, но про-

являвшуюся в их лучших творениях. По их идее, в слове романтизм заключалась вся вдохновенная, поэтическая сторона жизни с ее нежностью и обаятельной прелестью, сторона, почти убитая поэтами XVIII столетия, скованная ложным классицизмом, но существовавшая всегда и только забываемая на время. Древнейшие и величайшие поэты были романтиками беспрестанно, не делаясь оттого фантазерами и не вредя правде своих произведений. Гомер, описывая прощание Гектора с Андромахой или видение Ахиллеса на берегу моря, является романтиком. Софокл был романтиком в последних сценах «Антигоны»; Данте — описывая смерть Франчески или свое свидание с бесплотной Беатриче; Шекспир — во всех почти своих драматических произведениях; Тасс и Ариост — в поэмах. В романтизме нам надо видеть поэзию из поэзии, высший полет вдохновения, не фантазию и не действительность, а какой-то волшебный рубеж, на котором и действительность и фантазия сливаются в нечто целое, прекрасное и сверх того правдивое. Маркиз Поза не мог, судя по истории, говорить суровому Филиппу того, что говорит он ему у Шиллера: а между тем Шиллер верен поэтической истине<sup>59</sup>. Ахиллес мог любить своего Патрокла и видеть его тень во сне, хотя перед своим сном он влачил по полю тело героя Гектора и дико издевался над павшим противником. Историк может говорить нам, что люди известной эпохи были грубы, дики и даже глупы, — но поэт имеет право открывать в них высоко поэтические стремления и быть правым настолько же, насколько прав и противоречащий ему историк. Раз добравшись до сокровеннейших струн сердца человеческого, поэт находится в области, ему принадлежащей, и может смело идти по пути, им избранному. Натура человека всегда одинакова; поэзия жизни во всех веках одна и та же, только надо быть истинным поэтом и иметь великую силу на понимание натуры человеческой.

Великая сила Пушкина вся сказывается в «Русалке» — образцовом творении по своей правде и своей поэзии. Глубоко, тонко, обольстительно прелестью исполнены все действующие лица поэмы, со всем тем оставаясь верными своей эпохе, своим характерам. Любовь, измена, последнее свидание князя и девушки, свадебные сцены — как все это в одно время и верно и пленительно! Но по мере того, как произведение расширяется, начинаются страницы беспримерные как по своей обаятельности, так и по

тонкости поэзии, их проникающей. Великолепно двигается вперед поэма, и совершенства ее возрастают с каждым стихом, до тех пор, когда после превосходной сцены русалок на пустынный берег является сам князь, увлекаемый к грустному месту неведомой силою и одним из самых поэтических порывов души человеческой — воспоминанием о счастливой прошлой любви, разрушенной временною изменою...

О том, что разговор князя с мельником достоин шекспировского гения — было уже не раз замечено русскими критиками.

Стихи, которыми написана «Русалка», по совершенству своему до такой степени превышают все писанное мастерами дела у нас, что мы, поневоле, должны будем их сравнивать с белыми стихами тех иностранных поэтов, которые сделали из такого стиха лучший орган для передачи многих из своих вдохновений. Белый стих Байрона, в «Манфреде», драмах и некоторых поэмах решительно уступает стиху Пушкина; стих Вордсворта — превосходный по временам — всегда почти испорчен стремлением поэта к картинности — стремлением, какого нет у Александра Сергеевича. Кроме Гете и Мильтона с Шекспиром мы не знаем поэтов, которых белый стих мог бы идти рядом с бесподобным стихом, которому мы не можем достаточно надивиться, читая «Русалку» Пушкина.

Вот на какой ступени, по глубокому убеждению нашему, стоял народный русский поэт, имея тридцать семь лет от роду, в тот самый год, когда смерть пресекла его жизненное поприще.

## 12

Недавно мы говорили об одном литературном предрассудке нашего времени, а именно о малой вере в могущество труда; теперь же — заключая статью о Пушкине — нам придется указать на другой предрассудок, имеющий некоторое сходство с сказанным заблуждением. И публика наша, и даже иные из пишущих людей почему-то думают, что дело поэзии неразлучно с юным возрастом производителя, или, говоря другими словами, что лучшая пора для поэта истинного — есть период его молодости. Из числа тысяч, рыдавших над прахом Александра Сергеевича, огромное большинство почитателей оплакивало в нем поэта прошлых произведений, блистательного деятеля на

литературном поприще, человека прекрасного душою, но никак не певца, которому, быть может, смерть не дала сделаться русским Шекспиром или Мильтоном девятнадцатого столетия. Пушкину было тридцать семь лет, а его прошлая деятельность казалась даже его близким друзьям деятельностью полною, почти законченною, совершенно соразмерною со способностями, в нем таившимися. Пламеннейшие из читателей поэта, говоря друг другу «сколько песен унес он с собою в могилу», имели в виду песни, подобные *прежним* песням Пушкина; о песнях мировых, перед которыми побледнели бы песни пушкинской молодости — едва ли кто решался думать. Покойный поэт переступил еще перед смертью Дантовскую *mezzo cammin di nostra vita\**; ему было тридцать семь лет — и назвать Александра Сергеевича поэтом начинающим мог один только грубый невежда. А между тем он был поэтом начинающим. Он заканчивал свою деятельность, как великий поэт одной страны, и начинал свой труд, как поэт всех веков и народов. Ему было тридцать семь лет: Данте в тридцать семь лет от роду только что обдумывал свою поэму «*Divina Comedia*»\*\*. Для плеяды великих поэтов пора зрелого возраста есть пора начинания. *Из числа громадных произведений древней и новой поэзии ни одно не написано юношей*. Обо всем, нами сказанном, слишком мало думала русская публика.

Предрассудок о том, что поэтическое дарование всегда идет рядом с молодостью и может только гаснуть с наступлением зрелого возраста, делится даже самыми поэтами. Повсюду встречаются нам люди с обыкновенным талантом, которых пример служит только к наибольшему укоренению сказанного заблуждения. Свет наполнен юными и блистательными поэтами, поющими только в одну определенную пору и затем или обращающимися к прозе или окончательно прощающимися со стезей искусства. Они пожали обильную дань рукоплесканий, украсили свое чело венком, который, по их мнению, пригоден только для юного чела, и затем сходят со сцены, довольные собой и светом. Проза и зрелый возраст, юность и поэзия, старость и отрицание поэзии — для них проходят неразлучно. Бороться с прозой они не дерзают, сливать всю свою жизнь с делом искусства они считают за невозмож-

---

\* середина нашего жизненного пути<sup>60</sup> (ит.).

\*\* «Божественная комедия» (ит.).

ность. Отступаясь от своей музы, они отступают от нее с улыбкой на устах, без слез и без тоски в сердце. Никто не смеется над таким отступничеством; свет даже его одобряет. Воин, покинувший свое звание во время войны, заслуживает порицание; ученый, переставши заниматься своим предметом, чувствует угрызение совести; честный администратор, без всякого основания прекращающий свою полезную деятельность, очень хорошо сознает, какой ущерб приносит он своим согражданам. Ничего подобного не происходит с непостоянным поэтом. Он пел, подобно птице, когда был молод, но когда настал другой возраст и ему пришлось петь, как человеку, и зрелому человеку,— он нашел это занятие слишком тяжелым. Будучи молод, он был не прочь увеселять собратий своими песнями, продолжать такое занятие в зрелом возрасте ему кажется жалким делом. Пока дорога была усыпана цветами, он шел по ней с бодростью, но при виде терний и тяжелого пути свернул в сторону, потеряв и труд, и года, и всю свою прежнюю деятельность, и основу будущих песнопений, и, может быть, свою будущую славу. Так ли действуют поэты великие душою—поэты, которых одни имена возвышают душу нашу? Разве и их обманчивые года не клонили к прозе? Разве и они не сомневались в своих силах? Разве и на их душу не находила, по временам, та тоска, которая, по словам древних, иногда находит на атлета в минуту его сильнейших усилий? Разве и они не обращали умиленных взглядов к поре своей юности и, обманутые обманом чувств, не считали сказанную пору золотой годиною для своего дарования? Все это было с ними, и они все-таки остались поэтами и подарили свету такие творения, перед которыми прах и тлен все гармонические песенки их же золотой молодости. Не к юношам, увенчанным цветами, не к красавцам мечтателям сходит мировая муза, во многих отношениях сходная с дамами феодальных времен, по десяткам лет испытывавшими своих поклонников. Она сходит к певцам, как высшая награда за жизнь не попусту прожитую, за геройство и страдания; она улыбается не счастливым юношам, а мужам и старцам, про которых можно сказать: *«В них не жило сомнение!»* (Doubt dwelt not in them!) Она посещала слепого, изнуренного жизнью, престарелого Мильтона в его тесной комнате, делила с ним бедность, укрывала его от ожесточенных врагов и внушила ему песни «Потерянного рая». Она ходила за старым и суровым

странником в францисканской одежде, которому был так горек «хлеб изгнания», провожала его в Германию, во Францию и в чужие города его родной Италии<sup>61</sup>. Она слетала в темницу к увечному испанскому инвалиду<sup>62</sup>, не покидала Тасса в приюте безумия и бедствия<sup>63</sup>! Молодые ли были названные любимцы музы, были ли они счастливы в жизни? Пробегая умственным взглядом ряды великих поэтов, мы не можем отыскать между ними, так как они нам представляются, ни одного молодого человека. Какие старые, величественные лица! с каким благоговением останавливаемся мы перед ними, как понятно нам становится чувство иноплеменных воинов, подступивших к воротам Рима и в смятении заколыхавшихся при виде патрициев вечного города, сенаторов, увенчанных сединами, величаво ожидающих своей участи, сидя на курульных креслах! Гомер, Дант, Шекспир, Сервантес, Ариост, Гете, Мильтон — разве это юноши, разве это не старцы, убеленные сединами? Всюду седина и всюду морщины, даже на поэтах любви и веселия: Анакреон, Рабле, Беранже не представляются нам юными певцами! Поодаль от несравненной плеяды представляется нам сонм зрелых людей, не успевших свершить своего поприща, слишком рано отозванных небом от их плачущих собратий, — и впереди этих певцов, погибших преждевременно, мы различаем троих поэтов, юношей в сравнении с их великими предшественниками: Байрона — Ахиллеса искусства, Шиллера — вечного юношу, и нашего Пушкина, унесшего с собой в могилу последнее слово своей поэзии. Уступая обоим из названных товарищей значением своих первых трудов, наш соотечественник превышает и того и другого залогами своего будущего значения. Если молодость Александра Сергеевича не создала ничего подобного «Гарольду» и «Вильгельму Теллю» — зато в его посмертных тетрадах остались «Медный всадник», «Галуб» и «Русалка».

Раз решившись смотреть на поэзию, как на дело всей жизни поэта, раз согласившись принимать юность писателя за период его приуготовительных трудов, мы без труда увидим, до какой степени станет ясен весь вопрос о значении Пушкина в словесности. Отзывался ли голос нашего поэта в сердцах его сограждан? Услаждала ли его муза наши досуги, разъясняла ли она перед нами все светлые стороны жизни, истолковывала ли она нам те смутные порывы душ наших, какие мы ощущаем в лучшие минуты нашего существования? Голос всей России

отвечает на такие вопросы утвердительно. Таился ли в последних трудах Пушкина зародыш чего-либо великого? Шло ли вперед его дарование, поднималось ли оно на высоты, доступные только поэтам, за которыми потомство утвердило титул первых между первыми? Автор разбираемой нами биографии не изъявляет в том ни малейшего сомнения, все строгие ценители искусства подтверждают его приговор единогласно.

Остается, стало быть, решить еще одно сомнение. Иногда громадные таланты носят в себе зародыш своего будущего падения, а сами поэты лишают себя славы вследствие праздности, ложного взгляда на искусство, малого уважения к своему собственному признанию. Имелось ли в даровании или характере Пушкина нечто подобное сказанному гибельному зародышу? Положа руку на сердце, с чувством полного беспристрастия, мы можем сказать — «не имелось». До последнего дня деятельности Пушкина как поэта его талант крепнул и разрастался. Труд благородный и упорный был жизнью для Александра Сергеевича. Никогда не был он сам поклонником какой-либо теории, вредной для искусства, как бы она ни была блистательна и скоропреходяща. Он уважал своих сверстников по литературе, уважал своего читателя и собственное свое звание русского поэта не променял бы ни за какие сокровища. Смерть поразила в Пушкине литератора истинного, одаренного всеми качествами величайших писателей и не имевшего в себе ни одного почти недостатка из числа недостатков, неразлучных с этим званием.

Бесполезно сетовать на событие совершившееся и бесплодным сожалением портить себе настоящее благо. Вполне сознавая, что в Пушкине готовился поэт *европейский*, что ранняя смерть отняла у него место возле Данта, Шекспира и Мильтона, мы не желаем унижать и того, что уже было сделано *нашим* начинающим Пушкиным. Воспоминание о тех высотах, на которые в последние годы заносился гений поэта, да не вредит верной оценке для всей его деятельности за все поприще. И пусть сердцу знакомый образ рано умершего певца вечно носится перед нами не в виде грандиозного, туманного, неопределенного видения, но в образе вечного юноши, каким он сошел в преждевременную могилу!



## ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты статей А. В. Дружинина подготовлены по изданию: Дружинин А. В. Собр. соч., т. VII. Спб., 1865 (за исключением статьи «Стихотворения Н. Некрасова» — см. примеч.) и приводятся с сохранением некоторых авторских особенностей орфографии и пунктуации.

### А. С. ПУШКИН И ПОСЛЕДНЕЕ ИЗДАНИЕ ЕГО СОЧИНЕНИЙ

75 Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1875, № 3, отд. III, с. 41—70. Подпись: Д.; № 4, отд. III, с. 71—104.

Статья была написана в связи с выходом «Сочинений Пушкина с приложением материалов для его биографии...» (Спб., 1855, 6 томов, 7-й дополнительный том вышел в 1857 г.) Это издание осуществлял известный литературный критик Павел Васильевич Анненков. Он проделал огромную работу по подготовке к печати текстов пушкинских произведений (ряд произведений был впервые опубликован Анненковым), а главное — по разысканию и систематизации документальных материалов, освещающих жизнь и деятельность поэта. Собранные Анненковым материалы вошли в первый том издания и положили начало углубленному и всестороннему изучению Пушкина.

<sup>1</sup> *идиосинкразического* — от идиосинкразия — здесь: чрезмерная восприимчивость и чувствительность к воздействиям окружающего мира.

<sup>2</sup> Имеется в виду роман французского писателя XVII в. Фенелона «Приключения Телемака».

<sup>3</sup> Подразумевается стихотворение Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830) (иногда называемое «Подражание Данту»), а также стихотворение «Поэт» (1827), строки из которого здесь приводит и перефразирует Дружинин.

<sup>4</sup> Приводимые здесь Дружининым слова *Карлейля* — перефразированное выражение английского поэта Д. Мильтона: «Кто хочет писать героическую поэму, тот должен сделать всю свою жизнь героической поэмой». Это выражение вспоминает Карлейль в своей статье о Р. Бернсе (см.: Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878, с. 393). Дружинину импонировали известный консерватизм Карлейля, политическая умеренность, трезвость и в то же время эмоциональная теплота суждений английского критика о литературе; не случайно столь частые в дружининских статьях ссылки на Карлейля.



<sup>5</sup> *Эмиль* — герой романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762); в романе изображены воспитатель и воспитанник, отношения между которыми построены в соответствии с педагогическими идеалами Руссо.

<sup>6</sup> Знаменитая ода Державина.

<sup>7</sup> Строка из пушкинского стихотворения «19 октября» (1825).

<sup>8</sup> Такая оценка лицейских произведений необъективна и проистекает из того, что Дружинин ранние опыты Пушкина считал преимущественно подражательными и на этом основании отказывал им в полноценной художественности. Дружинин не учитывал степень самобытности поэта в восприятии и переработке им литературных традиций и образцов.

<sup>9</sup> Имеется в виду А. Шлегель. К его суждениям о театре классицизма (часто скептическим) были близки некоторые взгляды Пушкина — драматурга и критика (Пушкин был знаком с книгой А. Шлегеля *Cours de litterature dramatique*. 2, Paris, 1814).

<sup>10</sup> П. А. Катенин заново (после Я. Княжнина) перевел трагедию П. Корнеля «Цинна», которая в эпоху декабризма воспринималась как тираноборческое произведение. Катенину принадлежал и новый перевод «Сиды». В связи с этими переводами Пушкин писал в I главе «Евгения Онегина»: «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый».

<sup>11</sup> Поэма Д. Байрона «Поломничество Чайлд Горольда».

<sup>12</sup> Обмолвка Дружинина; у Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор...» («19 октября», 1825).

<sup>13</sup> М. Дмитриев по поводу приведенных строк из «Евгения Онегина» иронически замечал: «Как эти девчонки, готовящиеся на бал, забавны перед девою, прыдущею в избушке» («Атеней», 1828, ч. I, с. 88). За то же самое упрекал Пушкина и критик Б. Федоров («Санкт-Петербургский зритель», 1828, № 1).

<sup>14</sup> Острые и пронизательные суждения о комедии «Горе от ума» были высказаны Пушкиным в письме к А. А. Бестужеву (январь, 1825). Несмотря на то что письмо было частным, пушкинская оценка комедии Грибоедова вскоре же стала достоянием литературных кругов.

<sup>15</sup> О «законах драмы» Пушкин писал в заметках «О трагедии Олина «Корсер» (1827), «О «Ромео и Джульете» Шекспира» (1830), «Наброски предисловия к «Борису Годунову» (1829—1830), в статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница» (1830).

<sup>16</sup> *Александрийский стих и три единства* — обязательные с точки зрения классицистической эстетики черты драматического произведения.

<sup>17</sup> Л. Мерсье в трактате «О театре...» (1773) высказывал близкие к романтизму требования демократизации искусства, эмоциональной свободы стиля.

<sup>18</sup> Дружинин приводит (неполно и не вполне точно) отрывок из письма Пушкина к Н. Н. Раевскому-сыну (июль 1825 г.). Здесь Пушкин указывает на те стороны классицистической драматургии, которые канонизировал Лагарп и которые не удовлетворяли Пушкина-реалиста. Критически относился Пушкин и к теоретическим взглядам Лагарпа, изложенным в многотомном труде «Лицей, или Курс древней и новой литературы», хотя и отдавал должное учености автора.

<sup>19</sup> Подразумевается *бордо* — сорт французского красного вина.

<sup>20</sup> Оставшееся в рукописи окончание «Воспоминания» состоит из 20 стихов.

<sup>21</sup> Дружинин с некоторыми пропусками приводит отрывки из пушкинского «Письма к издателю «Московского вестника» (1828).

<sup>22</sup> Дружинин дает (в своем переводе с французского) выдержки из черновых набросков предисловия к «Борису Годунову»; наброски эти писаны 19 июля 1829 г.

<sup>23</sup> Здесь Дружинин не совсем точен. Пушкин действительно подчеркивал, что зрелой, глубокой и основательной критики как самостоятельной литературной отрасли в России еще нет потому, что сама образованность русская пока не созрела для этого. «Мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах», — писал он в 1830 г. Однако, считал Пушкин, «презирать критику потому только, что она еще находится во младенчестве, значит презирать юную литературу за то, что она еще не возмужала. Это было бы несправедливо». Пушкин отмечал «постоянно, хотя и медленно пробивающиеся мнения здравой критики и беспристрастия», находил, что «и наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей, глубоких воззрений и важного остроумия». Пушкин называл и имена «истинных» критиков: «Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских *Reviews*».

<sup>24</sup> Некоторые философские взгляды *М. Монтеня*, отмеченные, по словам Ф. Энгельса, «жизнерадостным свободомыслием», были действительно близки Пушкину (см.: Артамонов С. Д. Монтень и Пушкин. — В кн.: Писатель и жизнь. Вып. 5. М., 1968).

<sup>25</sup> Драматическая поэма *Д. Вильсона* «Город чумы (1816) послужила источником для пушкинского «Пира во время чумы».

<sup>26</sup> У Пушкина есть вольный перевод одной песни из сборника Барри Корнуолла (*Барри-Корнуолеса*) «Английские песни» — «Из *Barry Cornwall*» («Пью за здравие Мери...», 1830).

<sup>27</sup> *Драматурги Елизаветинского периода* — английские драматурги Дж. Лили, Р. Грин, Т. Кид, К. Марло, чье творчество пришлось на два последние десятилетия царствования Елизаветы Тюдор (1558—1603), отмеченные блестящим расцветом культуры. К этому периоду относятся и ранние пьесы Шекспира.

<sup>28</sup> Имеется в виду антология Ч. Лэма (*Лема*) «Английские драматические поэты, современники Шекспира» (1808).

<sup>29</sup> Речь идет о книге У. Хэзлитта (*Гезлитта*) «Лекции об английской драме елизаветинской эпохи» (1820). Интересно, что в названии своих заметок Пушкин использовал заглавие другой книги Хэзлитта «*Table talk*» («Застольные беседы»).

<sup>30</sup> «*Quarterly Review*» («Квартальное обозрение») — английский литературный журнал, орган консервативных романтиков; «*Эдинбургское обозрение*» («*Edinburgh Review*») — литературный журнал, издававшийся в Шотландии, выступал против консервативного романтизма.

<sup>31</sup> *Школа лекистов* (лейкистов) — так называемая Озерная школа (от англ. lake — озеро), идейное и творческое содружество английских романтиков консервативной ориентации (Вордсворт, Кольридж, Саути), противостоявших бунтарскому романтизму Байрона.

<sup>32</sup> *Ф. Джеффри*, редактор-издатель «Эдинбургского обозрения», был сторонником классических традиций в литературе и противником романтической школы.

<sup>33</sup> В данном случае сказалась некоторая ограниченность в понимании Дружининым национального и народного характера литературы. Проявившаяся в «Маленьких трагедиях» «всемирная отзывчивость» Пушкина как раз является свидетельством народности его творческого гения. Это, в частности, подчеркивал и разъяснял Достоевский в своей

знаменитой речи о Пушкине: «Тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» (Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 10. М., 1958, с. 456).

<sup>34</sup> Дружинин имеет в виду наиболее известный роман О. Голдсмита (*Гольдсмита*) «Векфилдский священник» (1766), отмеченный теплым, сочувственным взглядом на человека.

<sup>35</sup> Приводимый Дружининым отзыв принадлежит И. С. Тургеневу, как это следует из письма последнего к В. П. Боткину от 17 июня 1855 г.

<sup>36</sup> Дружинин напоминает об известном месте из «Мертвых душ» (гл. III), где рассказывается о пьяном кучере Селифане, опрокинувшем бричку с Чичиковым. Подобные примеры излишне реального, по его мнению, изображения Дружинин противопоставляет поэтическим картинам Пушкина.

<sup>37</sup> Так называлась пушкинская повесть «История села Горюхина» в первых публикациях.

<sup>38</sup> Итальянский поэт Торквато Тассо.

<sup>39</sup> Подразумевается Беатриче, возлюбленная Данте, изображенная им в «Божественной комедии».

<sup>40</sup> То есть в классицистической манере.

<sup>41</sup> Начало пушкинской поэмы «Вадим».

<sup>42</sup> Здесь Дружинин односторонне судит о Пушкине-драматурге. В драматургическом новаторстве Пушкина Дружинин склонен видеть не смелое разрушение старых форм, приведшее к созданию новой русской драматургии, а скорее новые грани эпического творчества поэта. Между тем уже некоторые современники Пушкина иначе судили об этом. Д. Веневитинов поставил «Сцену в Чудовом монастыре» «наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гете». Еще более категорично мнение И. Киреевского: «Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком» («Московский вестник», 1828, ч. 8, № 6, с. 195).

<sup>43</sup> Подразумевается отрывок «Какая ночь! Мороз трескучий...» (1827).

<sup>44</sup> Имеется в виду отрывок «Из Alfieri» («Сомнение, страх, порочную надежду...», 1827), представляющий собой переложение монолога Изабеллы из трагедии итальянского драматурга В. Альфиери «Филипп II» (действ. I, явл. I).

<sup>45</sup> Стихотворный отрывок «Сто лет минуло, как тевтон...» (1828), являющийся переводом начальных строф поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод».

<sup>46</sup> Об этом рассказывает Пушкин в своих примечаниях к «Песням западных славян».

<sup>47</sup> Имеется в виду баллада И.-В. Гете «Певец».

<sup>48</sup> То есть «Библиотеки для чтения», издаваемой О. И. Сенковским.

<sup>49</sup> См. заметки Пушкина «Письмо к издателю «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду» (1831), «Вечера на хуторе близ Диканьки...» (1836).

<sup>50</sup> См. заметки Пушкина «Предисловие к запискам Н. А. Дуровой» (1836) и «Кавалерист-девица» (1836).

<sup>51</sup> См. статью Пушкина «Джон Теннер» (1836).

<sup>52</sup> Газета «Северная пчела» писала, что «Современник» будет продолжением «Литературной газеты». Пушкин подтвердил это в редакционной заметке «Издатель «Современника» не печатал...».

<sup>53</sup> См. заметку Пушкина «Вастола, или Желания...». Переводчиком поэмы был Е. П. Люценко (1776—1854), служивший в 1811—1813 гг. в Царскосельском Лицее. С нападкамии на этот перевод выступили Н. Надеждин и О. Сенковский.

<sup>54</sup> См. заметку Пушкина «Вечера на хуторе близ Диканьки...» (1836).

<sup>55</sup> Пушкин не был автором заметки о книге И. Т. Радожицкого «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» (ч. 1—4. М., 1835—1836), и приведенные Дружининым слова Пушкину не принадлежат. П. В. Анненков писал в «Материалах...»: «Переходим к заметке, которая, может, и не принадлежит Пушкину, но удивительно совпадает с его образом мыслей и с направлением вообще» (Пушкин А. С. Соч. Т. 1. СПб., 1855, с. 416—417).

<sup>56</sup> Английский историк и литературный критик Т. Б. Маколей был автором ряда статей об английских писателях и получившего широкую известность сборника «Критические и исторические очерки» (1843), который и имеет в виду Дружинин.

<sup>57</sup> П. Летуэр был весьма посредственным переводчиком пьес Шекспира на французский язык.

<sup>58</sup> В понятие «романтизм» Пушкин вкладывал особый смысл, имея в виду прежде всего преодоление традиционных литературных форм, шедших от эстетики классицизма. В «Борисе Годунове» Пушкин отказывается от условностей классицистической драматургии, давая вместо того «верное изображение лиц, времени, развитие исторических характеров и событий», что и позволяет, по его мнению, написать «трагедию истинно романтическую» («Письмо к издателю «Московского вестника», 1828). В пушкинской трактовке романтизм оказывается прямым прообразом реализма.

<sup>59</sup> Герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» маркиз Поза обращается к испанскому королю Филиппу II с пламенными свободолюбивыми речами, призывая короля посвятить «счастью своих народов мощь правления» (действ. III, явл. 10). Дружинин хочет подчеркнуть, что главная заслуга Шиллера — поэтическая правда благородного и сильного характера, независимо от того, насколько близок к исторической подлинности данный эпизод.

<sup>60</sup> Подразумевается строка из «Божественной комедии» Данте: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» (Ад, песнь I).

<sup>61</sup> Имеется в виду Данте, которому политические обстоятельства не позволяли вернуться в родную Флоренцию.

<sup>62</sup> То есть к Сервантесу, который получил ранение в сражении, а впоследствии подвергался тюремному заключению.

<sup>63</sup> Т. Тассо, пораженный душевной болезнью, с 1579 по 1586 г. находился в госпитале св. Анны.

## СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. ФЕТА. СПб., 1856

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1856, № 5, отд. V, с. 1—19. Без подписи.

<sup>1</sup> Древнеримский поэт *Бавий* был известен своими ожесточенными нападками на Вергилия и Горация. Имя Бавия, бездарного и завистливого поэта, стало нарицательным.